

★ БИТВА ★ ЗА МОСКВУ



—10—

СЕРГЕЙ СОРОКИН

Битва за Москву

Сергей Сорокин

Битва за москву 1941 - 10

«Автор»

2026

Сорокин С.

Битва за Москву 1941 - 10 / С. Сорокин — «Автор»,
2026 — (Битва за Москву)

Он погиб на своей войне — и проснулся в чужом теле, в землянке осени 1941 года. Восемнадцатилетний Андрей Гринёв ничего не помнит, зато за его глазами живёт сорокавосемилетний солдат, привыкший выживать там, где другие видят только хаос. Впереди — Вязьма, окружение, немецкие танки и рота, у которой одна винтовка на троих, пустой фланг и несколько часов до катастрофы. Здесь нет рации, приказов из будущего и права на ошибку. Есть только земля, страх, смекалка и люди, которых можно успеть спасти. Как сохранить жизнь товарищам по окопу и подарить надежду?

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	20
Глава 4	28
Глава 5	36
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Сергей Сорокин

Битва за Москву 1941 - 10

Москва 1941 Том 10

Глава 1



— Двадцать пять минут, — повторил я. — Что нужно?

Мастер уже шёл к стрелке, светя себе вниз ладонью поверх фонаря.

— Люди нужны. Двое. И чтоб не мешали.

Работали они втроём: Сидельников, Рябцев и один из его сапёров, здоровый парень Зотов. Ещё один сапёр стоял в стороне и не держал в руках ничего, кроме автомата, и это было по-рябцевски: наблюдателя он никогда не занимал инструментом.

Сидельников сначала просто присел и минуты полторы водил ладонью по железу, ничего не делая. Я стоял рядом и молчал, хотя внутри у меня уже начал тикать этот поганый счётчик.

— Так, — сказал он наконец. — Смотрите, товарищ сапёр. Вот это — тяга, она перебита, её нам не собрать. А вот это — остряк. Он живой. Нам его надо прижать вот сюда, к этому рельсу, плотно, чтоб щели не было ни на волос, и заклинить, чтоб он под колесом не отошёл. Плотно — это главное слово. Если щель, состав не пойдёт на боковой, он пойдёт, куда ему приспичит, и, скорее всего, сойдёт прямо тут, у нас на голове.

— Понял, — сказал Рябцев. — Куда мне встать?

— Вот сюда, с ломом. И работай, когда я скажу, и ровно на столько, на сколько скажу.

Они поддели остряк. Он пошёл — тяжело, с железным скрипом, от которого у меня свело зубы, — и не дошёл.

Он не дошёл до рельса примерно на два пальца и встал намертво.

— Ещё, — сказал Зотов и налёг.

— Стой! — Рябцев перехватил его лом ладонью сверху. — Не дави. Он не идёт не потому, что мы слабые.

Сидельников уже лежал щекой почти на балласте и светил в щель.

— Есть, — сказал он. — Обломок. Накладку перебило, и кусок в паз упал. Ты бы, сынок, сейчас нажал и его туда вбил намертво, и мы бы эту стрелку до утра ковыряли.

Он вытащил из-за голенища проволочный крюк — кривой, самодельный, явно свой, не казённый, — и минуты две ковырялся, лёжа на боку и сопя. Потом что-то звякнуло, и он вытащил на свет плоский кусок железа величиной с ладонь.

— Вот он, красавец.

По знаку мастера Рябцев и Зотов снова налегли на ломы. Остряк пошёл и лёг.

Мастер прижал его, проверил прилегание сначала пальцем, потом ногтем, потом посветил под самым острым углом.

— Прилегает, — сказал он. — Зотов, клин. Нет, не этот, вот этот, дубовый. И вот сюда, под пятку, ещё один.

Он забил клинья сам и после этого не встал, а сделал то, за что я готов был его расцеловать: он позвал второго путейца, молодого парня из его бригады, который всё это время стоял поодаль, и заставил его самого проверить прилегание и пощупать клинья.

— Чего смотришь? Щупай. Если я сейчас сдохну, ты будешь знать, что тут сделано и как это разбирать.

Парень пощупал.

— Прилегает, Гаврила Петрович.

— Вот теперь докладывайте, товарищ старший лейтенант, — сказал мастер, поднимаясь и разгибаясь со стоном. — Стрелка заперта на боковой, на тупиковый. Ручным способом, с клиньями. Под нагрузкой держит, если пойдёт не быстрее, чем тихим ходом. Если он влетит сюда на полном, я ни за что не ручаюсь.

— Он не влетит, — сказал я. — Он пойдёт тихо. Он же приехал посмотреть, а не проскочить.

Второй участок Рябцев подготовил ещё раньше, днём, и теперь только проверил.

Место было за стрелкой, на боковом, метрах в ста двадцати: стыки обоих рельсов на одной поперечной линии. У них с вечера отвернули все гайки, кроме одной на накладку, и выдернули часть костылей, а поверх присыпали балластом, чтобы не белело свежим.

— Зотов, — сказал Рябцев. — Ты старший. Смотри на столб. Не на паровоз, не на пушки, не на меня — на столб. Как последняя платформа его миновала — вы выезжаете и снимаете накладки. Вдвоём. Третий смотрит вам за спину.

— А если он не весь пройдёт? — спросил Зотов. — Если он встанет раньше и хвост останется тут?

— Тогда вы не работаете, — сказал Рябцев. — Совсем. Лежите и ждёте. Я лучше не закрою ему зад, чем положу вас под его хвостовую площадку.

Я послушал это и добавил только одно:

— И, Зотов. После того как сняли — уходите сразу. Не надо смотреть, что получилось. Оно само покажется.

В двадцать двадцать всё было убрано.

Инструмент унесли за насыпь, лом и кувалду положили не у стрелки, а в канаве, в пятнадцати шагах, — чтобы под ногами не валялось железо, за которое в темноте цепляются. Сидельников со своим парнем ушёл за штабель шпал, к Юдину. Рябцев лёг у водоотвода, откуда ему был виден и пост, и вход на боковой.

Пахомов последний раз прошёл по горловине с синим фонарём, посмотрел на запертую стрелку, потом вернулся к нам и сказал официально, как докладывают:

— Маршрут установлен на боковой, тупиковый. Маневры по станции закрыты в двадцать ноль восемь. Записал.

— Принято, — сказал я. — Спасибо, Семён Игнатьич.

— Мне бы, товарищ старший лейтенант, лучше вагоны катать, — сказал он. — Но спасибо и вам.

Я подал ему оставленный у шпал молоток. Пахомов принял его за рукоять и пошёл к укрытию.

Я обошёл своих в последний раз.

Самойлова сидела на станине, свесив ноги, и грызла сухарь. Её оружие стояло за пакгаузом, за кирпичной стенкой, в которой ещё днём выбили два кирпича, — не амбразуру, а глазок для наводчика.

— Видишь вход на боковой? — спросил я.

— Вижу, пока светло по горизонту. Через полчаса буду видеть по пару и по звуку, и по вспышкам, если начнут. — Она отряхнула ладони. — Гринёв, ещё раз: где твои будут в первые минуты?

— Юдин — за штабелем шпал, от него до входной стрелки двадцать шагов. Мельников с двумя отделениями — вдоль насыпи, от водокачки в сторону депо, но он не двинется, пока я не скажу. Рябцев с двумя — у водоотвода. Пехоты за пакгаузами у тебя нет и не будет.

— Хорошо. — Она посмотрела в свой глазок. — Первый снаряд я всё равно дам по площадке. Не потому, что она страшнее всех, а потому, что оттуда виден стрелочный пост, а за шпалами возле него ещё мастер и Пахомов.

— Они уже у Юдина.

— А оттуда ещё выходить к водокачке, — сказала Самойлова. — Вот я и прикрою.

Мельникова я нашёл у водокачки. Он сидел на корточках спиной к стене и, как всегда перед делом, ел — быстро, без вкуса, потому что знал, что потом будет некогда.

— Пётр Игнатьич.

— Слушаю, товарищ старший лейтенант.

— У тебя два отделения и вся правая сторона. Твоя задача — не бронепоезд. Твоя задача — люди, которые с него полезут.

Он прожевал.

— Полезут, — согласился он. — Обязательно полезут. У них там всегда есть десант, человек пятнадцать. И полезут они не на пушку, а сюда, — он показал ложкой, — к будке, в обход, по канаве, потому что в канаве не видно.

— Вот и смотри канаву. Только, Пётр Игнатьич, вот что. Мотовоз и платформу уберут до закрытия маневров. А если огонь прижмёт их бригаду за депо, железнодорожники будут уходить к дальнему укрытию тем же проходом. Предупреди своих, чтобы не стреляли в спину людям, которые бегут не в ту сторону.

Мельников перестал жевать.

— Это вы верно, — сказал он. — Это первым делом. А то у нас в марте было.

Он встал, вытер ложку о голенище и пошёл к своим, и я слышал, как он говорит им не «слушай боевой приказ», а то, что нужно: «Значит, так, ребята. Там по путям свои будут бегать в железнодорожном. В железнодорожном — не стрелять».

В двадцать тридцать восемь по рельсу пришёл новый звук.

Не дробный. Тяжёлый, низкий, с длинными паузами, и за ним, через минуту, — выдох пара, такой мощный, что его стало слышно раньше, чем колёса.

Тягунов с чердака передал вниз одно слово:

— Идёт.

Он вышел из-за посадки в двадцать сорок четыре.

Я видел его сначала как темноту, которая двигалась внутри темноты, и только потом — как ряд низких, широких коробов с косыми скатами брони и торчащими над ними башнями. Впереди шла контрольная платформа с балластом, потом бронеплощадка, потом паровоз посе-

редине, укутанный в железо так, что от него оставался только звук, потом ещё две площадки и хвостовая с зениткой.

Он шёл шагом пешехода. Он ощупывал станцию, как ощупывают ногой лёд.

И на входной стрелке он не остановился ни на секунду.

Стрелка была заперта, и он пошёл туда, куда она смотрела, — плавно, длинно, огромной железной змеей заворачивая с главного хода на боковой, к пакгаузам, к ложной платформе, где ещё до прихода дрезины так поспешно погасили свет.

Я лежал за штабелем шпал рядом с Юдиным, и у меня было очень странное ощущение: будто я обманул не людей, а машину, и машина, огромная и умная, послушно повернула туда, где я для неё приготовил тупик.

— Прошёл первую, — прошептал Юдин. — Прошёл вторую...

Столб — старый водоразборный, без крана — стоял в ста тридцати метрах за стрелкой, на десять метров дальше подготовленных стыков. Когда хвост минует его, над стыками уже не будет колёс. Мимо столба шли и шли площадки, и я считал их вместе с Зотовым, который лежал далеко и которого я не видел.

Контрольная. Первая площадка. Паровоз — от него в лицо дохнуло жаром и угольной гарью даже через сто шагов. Вторая площадка. Третья.

Хвостовая с зениткой миновала столб в двадцать сорок девять.

И в эту минуту в голове состава залязгало, заскрежетало по-железному, и весь бронепоезд встал: машинист увидел упорный брус в конце тупика и то, что за брусом ничего нет, кроме бурьяна и разобранного пакгауза.

Потом всё пошло сразу.

Из укрытия позади хвостовой площадки выскочили трое — Зотов и двое. Я не видел всей работы, потому что смотрел в другую сторону, но услышал, как звякнула упавшая накладка; затем двое налегли на ломы, и освобождённые концы рельсов ушли вбок. Через несколько секунд они уже бежали к канаве, не оглядываясь.

Немцы на составе сначала не поняли. Там кричали, потом кто-то на передней площадке начал разворачивать башню назад, в сторону выхода, — и вот тогда у них стало ясно на лицах написано: они попались.

Башня передней бронеплощадки довернулась и ударила первой.

Она ударила не по нам и не по пакгаузу. Она ударила туда, куда я и боялся, — по западной горловине, по стрелочному посту, по будке, — потому что оттуда её заперли и потому что оттуда торчали рельсы, которые она хотела разбить.

Первый снаряд лёг у будки. Будку разнесло в щепу, и я успел подумать про мастера Сидельникова, а потом вспомнил, что он за штабелем, в тридцати шагах от меня, и в ту же секунду он сказал у меня над ухом матерно и с восторгом:

— Ах ты ж, гад, по моей будке!

Вторая очередь зенитки прошла по балласту у поста, где ещё пять минут назад стоял Пахомов со своим фонарём.

И тут заработала Самойлова.

Её орудие било из-за кирпичной стенки пакгауза, через расчищенный пролом рядом с глазком наводчика, в борт, метров с двухсот, и била она не по башне, а ниже и правее — по передней бронеплощадке, туда, где у них был открытый барбет с зениткой и откуда только что хлестали по горловине.

Первый её выстрел я скорее почувствовал, чем услышал. Второй лёг рядом с первым. После третьего на площадке что-то загорелось, низким рыжим пламенем, и очередь оборвалась на середине.

— Пошли! — сказал я Юдину. — Пахомова и мастера — за водокачку. Бегом, пока она их держит.

Двое путейцев и Пахомов уходили от горловины по канаве, пригнувшись, и старик бежал последним и ещё оглядывался на свою разбитую будку, и молодой тянул его за рукав.

Потом я пошёл сам.

Мы двигались вдоль насыпи, парами, от укрытия к укрытию: от штабеля шпал — к штабелю рельсов, от рельсов — к бетонной опоре бывшего крана, от опоры — к пакгаузу. Я не кричал «вперёд». Я говорил старшему пары: «до опоры», и он вёл своих, и, добравшись, показывал мне рукой, и только после этого шла следующая.

Это медленно. Это очень медленно, когда над тобой стучит пулемёт с бронеплощадки и от кирпичной стены летит крошка. Но за все эти перебежки я не потерял ни одного, потому что никто ни разу не побежал в ту сторону, куда в этот момент смотрел чужой ствол.

На середине пути Осипов, ползший со мной со своей катушкой, сунул мне трубку.

— Самойлова.

— Второй.

— Где ты? — голос у неё был злой и деловой. — Мне нужно до столба.

— Мы у бетонной опоры крана, это между водокачкой и вторым пакгаузом. Дальше пойду вдоль стенки пакгауза до угла. За угол не выйду, пока не скажу тебе.

— Значит, полосу от опоры до угла я больше не трогаю. — Пауза, короткий разговор с кем-то. — Гринёв, у них на второй площадке оружие живое. Оно сейчас развернётся на меня, и вот тогда мне будет не до твоей полосы, я буду кланяться. Ты это учти.

— Учту.

— И ещё. Передняя площадка горит, у них там люди выпрыгивают на балласт. Это не десант, это погорельцы. Стрелять по ним я не буду.

— И мои не будут, если они не с оружием.

Десант полез, как и обещал Мельников, — справа, по канаве, в обход, к разбитой будке.

Их было человек двенадцать, и шли они грамотно: сначала двое, потом остальные. Я их не видел вовсе; я увидел только, как справа, у водокачки, поднялась короткая частая стрельба и как трассы Мельникова легли поперёк канавы.

Через минуту он передал по цепочке, коротко: «Лезут в канаву, двенадцать, держу, левую сторону не оголил».

Он не потащил туда всё, что у него было, — он развернул одно отделение и оставил второе смотреть в другую сторону, потому что если лезут в одном месте, это часто значит, что через три минуты полезут в другом.

И они действительно попробовали в другом: четверо пошли в обход депо, и там их встретил мельниковский второй, и двое из четырёх подняли руки на десятой минуте, и это были первые пленные за ночь.

Жаров со своими ещё до закрытия маневров вывел мотовоз и платформу с металлом по тому маршруту, который мы отметили днём: не по главному, а по второму пути, за депо, в сторону поворотного круга.

Теперь я услышал оттуда бегущих людей и на секунду похолодел: в темноте не разобрать, свои они или чужие, — и тут же услышал, как в темноте кто-то из моих орёт:

— Не стрелять! Свои, железнодорожные!

Мельников предупредил. Мельников всегда предупреждал.

К двадцати одному ноль пяти положение выглядело так.

Бронепоезд стоял в тупике, длинный, тяжёлый и совершенно неподвижный. Передняя площадка горела и молчала. Вторая огрызалась, но была уже наугад, потому что Самойлова сменила место — у неё была запасная позиция за грудой шлака, и она успела туда переползти со своими, пока их накрывало.

Путь назад у состава был разомкнут на обоих рельсах.

Обход справа был закрыт.

По насыпи, вдоль стены пакгауза, в тридцати метрах от бортов, лежали мои пары, и я лежал с ними, и было хорошо слышно, как внутри брони кричат.

А потом из середины состава, оттуда, где стоял запелёнатый в железо паровоз, закричали по-другому.

Не команду. Долго, на одной ноте, страшно, надрывая голос, — так кричит человек, который зовёт, а не приказывает.

— Товарищ старший лейтенант! — Это Дуров, лежавший ближе всех к паровозу. — Тряпка! Белая тряпка!

— Где?

— Из котельного отделения, из двери! Машут!

— Смотри свою сторону, — сказал я ему. — Смотри свою сторону, Дуров, я на тряпку сам посмотрю.

И это было важно, потому что все, кто лежал рядом, повернули головы на тряпку — все, кроме тех, кому я успел этого запретить.

Тряпка была не тряпка, а кусок белой ветоши, замасленный, и держала его рука в чёрном рукаве, и рука эта тряслась.

— Гуревича ко мне, — сказал я.

Переводчик, сержант Гуревич, прибежал через две минуты, пригнувшись, придерживая на бегу очки. Он был из разведотделения полка, до войны учил детей немецкому в Виннице, и он всегда сначала слушал, а потом переводил, а не наоборот.

— Слушай, что он кричит.

Гуревич полежал, приподняв голову, послушал.

— Он кричит: «Не стреляйте, мы выходим». И ещё... — Он нахмурился. — Он кричит: «Он хочет взорвать». Это не про нас, товарищ старший лейтенант. Это он про кого-то из своих.

— Уверен?

— «Er will sprengen», — сказал Гуревич. — Он хочет подорвать. Так говорят про третьего.

Я посмотрел на состав.

Одна дверь в железном боку паровозного отделения была приоткрыта, и в ней, в тусклом красном свете от топки, стоял человек и махал ветошью.

Всё остальное железо молчало, кроме второй площадки, которая по-прежнему стреляла в сторону шлаковой горы.

— Передай ему, — сказал я. — Выходить по одному, через эту дверь, без оружия, руки на голове, сойти на балласт и идти вот сюда, к бетонной опоре. Останавливаться у опоры и ложиться. Скажи два раза. Медленно.

Гуревич приподнялся на локте и заорал в темноту. У него был неожиданно сильный, учительский голос, и он действительно повторил дважды, и второй раз медленнее.

— И ещё скажи, — добавил я. — Мы прекращаем огонь только по этой двери. По остальным — нет. Кто высунется где-то ещё, тот сам виноват.

Я передал по цепочке налево и направо: по котельной двери не стрелять, наблюдение остальных выходов не снимать; Мельникову — то же самое, и отдельно: канаву не бросать; Самойловой через Осипова — у паровоза выходят люди, полоса от котельного отделения до бетонной опоры для тебя закрыта.

— Поняла, — сказала Самойлова. — А вторая площадка мне никакой тряпкой не машет, и я ею займусь.

Первым вышел он сам — тот, что кричал.

Кочегар. Невысокий, в чёрном от угля комбинезоне, без ремня, с обожжённой до красноты шеей. Он спрыгнул на балласт, и ноги у него подломились, и он сел, и тут же снова поднял руки.

За ним вышли ещё четверо: двое машинистов и двое, судя по виду, из орудийной прислуги, один с окровавленным лицом.

Их приняли у бетонной опоры Юдин с двумя бойцами. Обыскали сразу, там же. С первого сняли нож, со второго — пистолет, который он, оказывается, забыл в кармане комбинезона, и на этом месте у меня коротко похолодело в затылке, потому что забывший пистолет и спрятавший пистолет выглядят совершенно одинаково.

— Отвести от борта, — сказал я Юдину. — Метров на тридцать, за опору. И чтобы сапёр мог подойти к паровозу.

Гуревич сел на корточках перед кочегаром.

— Как зовут?

— Франц, — сказал тот и добавил фамилию, которую я тогда не разобрал и записал потом со слуха.

— Что ты кричал про подрыв?

Франц заговорил быстро, захлёбываясь, показывая рукой назад, на паровоз, и Гуревич поднял ладонь и сказал ему что-то короткое, отчего тот сбавил темп.

— Так, — сказал переводчик мне. — Он говорит: командир состава, обер-лейтенант, после остановки пошёл в котельное отделение и открыл ящик у арматуры. Ящик, который они не открывают. Он его видел своими глазами, метра с трёх. Потом командир его оттолкнул и велел всем выйти на площадку, а сам остался.

— Что в ящике?

Гуревич перевёл вопрос, выслушал и покачал головой.

— Он говорит: он думает, что там подрывная машинка или что-то вроде. Но он это не видел. Он видел ящик, крышку и что командир туда лез.

— Вот это и запиши, — сказал я. — Что видел — отдельно. Что думает — отдельно.

Рябцев подошёл, когда пленных уже увели за опору.

Он выслушал молча, потом сказал:

— Спрашивать я его буду только про то, что он видел. Пусть покажет с порога, куда лез командир. Внутрь он со мной не пойдёт.

— Он и не просится.

— Ну и хорошо.

Франца подвели к паровозу под конвоем — Мельников выделил двоих, и один из них шёл так, что между пленным и открытой дверью всё время оказывалось его плечо.

Франц остановился в шести шагах от борта, вытянул руку и показал: вот сюда, справа от топки, у трубы с вентилем, в нише.

Гуревич перевёл. Рябцев кивнул, поблагодарил — я расслышал его «спасибо» и удивился, — и велел увести пленного обратно.

Потом он сделал то, что мне запомнилось на всю войну: он не полез внутрь.

Он лёг на балласт у самой двери, посветил фонарём снизу вверх, вдоль пола котельного отделения, и смотрел так минуты три. Потом поднялся на подножку, и опять смотрел, и опять светил, и один раз позвал:

— Товарищ старший лейтенант. Видите?

Я подошёл и посмотрел, куда он светил. Из ниши справа от топки, из-под откинутой крышки ящика, выходил тонкий провод в тёмной оплётке и уходил вниз, под настил, в сторону хвоста.

Глава 2



— Вижу.

— Так вот, — сказал Рябцев. — Он туда лез, это правда. Что он успел, я пока не знаю. Я вижу линию, я вижу, что она идёт под настил, и я не вижу, куда она приходит. Внутри я один не полезу и вас не пущу, пока у меня не будет света и не будет людей, и пока из этой коробки не вылезут все, кто там ещё сидит.

— Сколько тебе времени?

— Не знаю, — сказал он честно. — Сейчас я могу сделать одно: отделить то, чем он мог это запустить, от того, что он мог запустить. Вот этот кусок, от ящика и на два метра, я перережу и разведу концы. Тогда с того места, где он лез, оно уже не сработает. А остальное — это работа со светом и не на пять минут.

Он сделал это за четверть часа. Один раз он сказал мне «отойдите», и я отошёл, и потом ещё раз, и я отошёл дальше.

Потом он спустился, сел на балласт, вытер лицо рукавом и доложил:

— Товарищ старший лейтенант. Тот способ, которым он собирался, больше не работает. Это я утверждаю. Что в машине нет ничего другого, я не утверждаю, и до утра утверждать не буду.

— Этого достаточно.

Я вернулся к опоре, где сидели пленные, и попросил Гуревича спросить у Франца одну вещь.

— Спроси его: сколько вас было в составе и где сейчас командир?

Франц ответил и стал загибать пальцы.

— Он говорит, — Гуревич слушал и переводил, — экипаж сорок два человека, плюс шестнадцать десантников. Кого-то убило, кого-то ранило. — Пауза. — Про командира говорит, что не знает. Из котельного он не выходил вместе с ними.

Я посмотрел на тех, кто сидел на балласте под охраной.

Их было девять: двоих взяли при обходе депо, пятеро вышли вместе с Францем, ещё двоих обгорелых привели от передней площадки. Из железного дома длиной в двести метров, где только что кричали десятки голосов, наружу пока вышло девять человек, и ни один из них не был офицером.

— Юдин, — сказал я. — Пиши имена и посты. И считай.

Вторая площадка сдалась в двадцать один двадцать.

Самойлова с новой позиции успела всадить в неё два снаряда, и после второго оттуда перестали отвечать вовсе; потом на её крыше поднялась и закачалась палка с чем-то белым, и Гуревич, ползая от пары к паре, прокричал одно и то же трижды: выходить по одному, оружие оставлять внутри, идти к бетонной опоре, там ложиться.

Они пошли.

Это было длинно и совсем не похоже на то, как показывают. Люди вылезали из низких квадратных дверей боком, спиной вперёд, нащупывая ногой ступеньку, спрыгивали и почти все сразу садились на балласт, потому что ноги не держали. Один потащил с собой шинель, и Мельников её отобрал и вытряхнул, и из неё выпал сухарь и бритва.

Юдин работал у опоры с огрызком карандаша и с полевой книжкой, и работал он так, как я его учил зимой, а он с тех пор довёл до своего.

— Гуревич, спроси у него: где он был. Не «кто ты», а где стоял.

— Говорит: подающий, вторая площадка, левое орудие.

— Записал. Теперь спроси у следующего: кто был с ним на левом орудии.

Он сверял их одного с другим — не по числу, которое называл первый, а по постам. Кто на каком месте, кто рядом, кого не хватает на этом месте. Через полчаса у него в книжке было расписано всё железо, как расписывают деревню по дворам: столько-то живых вышло, столько-то лежит внутри, столько-то раненых, и вот тут, в паровозном хозяйстве, не хватает одного человека — того, кто у них командовал.

Мельников тем временем развёл потоки.

Пленных он посадил за бетонной опорой, на голом месте, под охраной, отдельной кучей, и туда же велел отнести раненых немцев, и позвал санитаров.

А железнодорожников — Жарова, его слесарей, Пахомова, Сидельникова с его парнем, — которые уже потянулись к путям, он остановил за пакгаузом и не пустил дальше.

— Пётр Игнатьич! — возмущался Жаров. — Мне же посмотреть!

— Посмотришь, — сказал Мельников. — Как сапёр скажет, так и посмотришь. Ты мне сейчас туда пойдёшь, а там из-под платформы кто-нибудь выстрелит, и я тебя потом на чём вывезу?

Седов приехал в двадцать один тридцать, на мотоцикле, со стороны переезда.

Он командовал соседней ротой, стоял за путепроводом, последние сорок минут слышал нашу стрельбу, и по нему было видно, что он уже составил в голове весь доклад.

— Гринёв! — Он шёл ко мне через шпалы большими шагами, и на его лице было то самое выражение, которое я помнил ещё по ящику с песком. — Взял?

— Стоит.

— Да я вижу, что стоит. — Он остановился и задрал голову на тёмную броню, на башню, на закопчённый бок передней площадки, которая ещё дымилась. — Это же... Гринёв, ты понимаешь, что у тебя тут стоит? Это же готовая крепость на колёсах. Ты знаешь, что у немца на девятом разъезде? Там узел, там у них склад и рота охраны. Если мы вот на этом туда придём часа в четыре утра...

— Не придём.

— Почему?

— Потому что за ним разобраны стыки. Путь ещё собирать, а сам паровоз не осмотрен.

— А ты откуда знаешь? — Он повернулся ко мне, и в голосе у него было хорошее, честное, злое нетерпение. — Ты машинист? Ты паровоз видел изнутри?

— Не видел, — сказал я. — Поэтому давай спросим тех, кто видел. Гаврила Петрович! Пётр Лукич!

Сидельникова и станционного машиниста Петра Лукича Свиридова — однофамильца нашего путевого мастера — привели из-за пакгауза.

Свиридов был человек лет пятидесяти, в промасленной тужурке, немногословный до неприличия. Он подошёл к бронепаровозу, обошёл его вдоль, насколько пускала охрана, послушал и ткнул пальцем:

— Вот.

— Что «вот»? — спросил Седов.

— Парит, — сказал Свиридов. — Слышите? Не должно так шипеть. У него где-то сальник или трубка. Может, осколком задело, может, само. Пока не открою — не скажу. Но с таким шипением я его никуда не поведу, потому что если оно рванёт под нагрузкой, то будку срежет вместе с людьми.

— Сколько времени на посмотреть?

— Пустить его в тёплом состоянии я могу посмотреть за час, — сказал машинист. — Устранить — как повезёт. Может, два часа, а может, и завтра.

Сидельников добавил своё, показывая молотком на вторую от хвоста платформу:

— И вот эту вы никуда не потащите. У неё тележка криво стоит, я её ещё от стрелки увидел. Её осматривать надо, а не гнать. Она вам на первом же стрелочном переводе ляжет поперёк пути, и тогда, товарищ капитан, — он повернулся к Седову, — у вас не будет ни бронепоезда, ни станции, ни дороги.

Седов слушал, глядя не на них, а на меня. Он не любил, когда его переубеждают; но он был не дурак и смотрел туда, куда показывали пальцем.

— Ладно, — сказал он наконец. — Допустим. Сколько ты просишь?

— До рассвета, — сказал я. — Сапёр проверяет машину, машинист смотрит пар, артиллеристы смотрят орудие. К рассвету у нас будет ответ: можно этим пользоваться или нельзя и в каком виде.

— А узел?

— А узел мы держим тем, чем держали вчера. Ротой, батареей и людьми. У меня периметр стоит, ничего не изменилось.

Седов указал на людей за оцеплением: двое вытягивали шеи к башне, ещё трое мешали конвою у прохода.

— Половина твоей роты сейчас разглядывает трофей.

— Это ты верно заметил, — сказал я. — Мельников!

— Здесь.

— Сменить посты по периметру, как положено, сейчас. Тех, кто у состава без дела, — по местам. Охрану пленных усилить, там сорок с лишним человек, и это не бабушки.

Мельников ушёл, и через пять минут по путям пошло то деловитое движение, от которого Седов чуть-чуть подобрел.

— Хорошо, — сказал он. — До рассвета. Я так и доложу: трофей взят, используется после проверки. — Он помолчал и добавил уже по-другому, тише: — Гринёв, ты не думай, я не славы ищу. Я думаю о том, что через три дня тут пойдёт состав, и если немцы к этому времени соберутся, нам этот утыг понадобится. Просто я бы его сейчас погнал, а ты будешь проверять.

— Я бы его тоже погнал, — сказал я. — Если бы вот он, — я кивнул на Свиридова, — сказал мне, что можно.

Командира мы искали двадцать пять минут.

Первым делом Юдин доложил своё: по постам не хватает одного, обер-лейтенанта, и трёх человек из оружейной прислуги первой площадки, но эти трое, по словам немцев, сгорели там при пожаре, и их видели мёртвыми.

— Значит, один живой и вооружённый, — сказал я. — И он в машине.

Франца привели опять. Он был уже не тот, что час назад: у него перестали трястись руки, и он ел, и сидя жевал, пока Гуревич задавал ему вопросы.

— Куда он мог уйти из котельного отделения?

Франц объяснил, рисуя пальцем по балласту: из котельного есть внутренний проход в тендер, из тендера — люк наверх и лаз в передний отсек, где у них ящики с инструментом и запасная арматура.

— Он говорит, — переводил Гуревич, — что там тесно и темно и что там можно сидеть, и что оттуда два выхода: люк сверху и дверь в переход.

— Он это видел или он думает?

Гуревич спросил.

— Видел, — сказал он. — Он там уголь брал.

— Хорошо. Спроси, есть ли там ещё какой-то выход.

— Говорит: нет.

— Уведите его.

Внутрь пошли четверо: Рябцев с фонарём, двое моих — Дуров и ещё один, здоровый, из последнего пополнения, — и Гуревич.

Я остался снаружи, у люка, и с той стороны, у двери в переход, встал Мельников с бойцом. Мы закрыли оба выхода и после этого никуда не спешили.

Гуревич кричал в железо. Он кричал минут десять, повторяя одно и то же: выходи, оружие оставь, ты один, состав взят, экипаж вышел, живым будешь.

Внутри молчали.

— Может, его там нет, — сказал Дуров. — Может, он ушёл ещё тогда, в темноте.

— Может, — сказал я. — Только пока мы не убедились, мы будем считать, что он есть.

Рябцев в это время осматривал не отсек, а подходы к нему — светил в переход, щупал пол, смотрел под ноги, и один раз замер и потом сказал: «чисто».

На двадцатой минуте внутри что-то стукнуло.

— Сидит, — сказал Мельников.

Мы могли бросить туда гранату. Мы могли дать очередь в темноту. Я поймал себя на том, что мне этого хочется, и, наверное, минуту всерьёз рассматривал такое решение.

Потом сказал Гуревичу:

— Переведи ему так. Мы никуда не уходим. Выхода у тебя два, и оба закрыты, и мы будем стоять здесь до утра, а утром сюда придут люди с инструментом и всё равно откроют. Ты можешь выйти сейчас, а можешь через шесть часов, но выйти ты можешь только сюда.

Гуревич перевёл, и я по его интонации слышал, что он переводит именно это, а не свои чувства.

Ещё минут пять было тихо.

Потом в люке, снизу, лязгнуло железо о железо — так лязгает пистолет, брошенный на настил, — и хриплый голос сказал что-то короткое.

— Он спрашивает, — сказал Гуревич, — правда ли, что его не застрелят, когда он покажется.

— Скажи: если выйдет с пустыми руками, не застрелят.

Он вылез из люка сам, задом, нащупывая скобы. Немолодой, длинный, в кожаном пальто поверх кителя, с перемазанным сажей лицом и с кровью на левой кисти. Он выпрямился на тендере, посмотрел сверху на нас, на разбитую переднюю площадку, на свой состав, стоящий в тупике мордой в упорный брус, и вдруг стал очень усталым.

Обыскали его двое, при свете фонаря. Пистолет из отсека Рябцев вынес отдельно, уже потом, и отдельно же положил на плащ-палатку всё техническое, что нашлось при командире, — ключ, планшет, футляр.

— Товарищ старший лейтенант, — сказал Рябцев. — Я это железо с собой не мешаю. Оружие охране, бумаги вам, а что из машины — то я сам посмотрю, когда буду смотреть машину.

— Правильно.

Юдин закрыл свой счёт в двадцать два ноль пять.

Он подошёл ко мне с книжкой, в которой было расписано всё.

— Вышло живых сорок семь, из них раненых девятнадцать, — сказал он. — Убитых внутри, по показаниям, одиннадцать, точное число дам, когда сапёр разрешит зайти и посчитать. Все посты закрыты, лишних и недостающих нет, командир — вот он, сорок седьмой. Список я переписал в двух экземплярах: один охране, один вам.

— Отдай охране сейчас, при них. И пусть старший охраны распишется на твоём.

— Уже, — сказал Юдин и показал: внизу страницы стояла корявая подпись.

Пленных увели в депо, в кирпичный отсек с одним выходом, и там их пересчитали ещё раз, уже по списку.

Франца увели не со всеми.

Я оставил его отдельно, под охраной, в мастерской при депо, и сказал Гуревичу записать, а Рябцеву — знать: этот человек нам ещё понадобится, потому что он единственный, кто может показать, чем в этой машине пользовались и куда лез командир. И тут же сказал вслух, при всех, чтобы не было потом разговоров:

— Он пленный. Никаких послаблений, никакой свободной ходьбы. Водить под конвоем, отвечать на вопросы у указанного места, ночевать под замком. Всё, что он показал, записывать отдельной бумагой.

— А что с ним потом? — спросил Гуревич.

— Потом его передадут, как всех, — сказал я. — А что он сегодня орал в дверь и махал ветошью, будет записано. Это не моё дело — решать, чего это стоит. Моё дело — чтобы это не потерялось.

Доступ к машине Рябцев разграничил сразу после сдачи командира, и закрыл по-настоящему.

Он прошёл вдоль состава с двумя своими и мелом расчертил борта: на дверях отсеков, которые он успел осмотреть, появился крест, на остальных — ничего.

— Куда крестом — можно входить, — объявил он железнодорожникам, собравшимся у пакгауза. — Куда не крестом — нельзя, и это не я вредный, это я не смотрел. Как посмотрю — поставлю.

— А оружие? — спросила Самойлова.

Она пришла со своей позиции — в пыли, с почерневшими руками, с расстёгнутым воротом, и первым делом посмотрела не на пленных и не на меня, а на башню второй площадки.

— Вход в оружейный отсек проверен, — сказал Рябцев. — До башни ещё не дошёл: ящики с боеприпасами несмотрены. Подождите.

Спор случился тут же и был неизбежен.

Жаров хотел лезть под первую площадку, где у него, по его словам, «всё и так видно, и там делов на полчаса». Свиридов требовал, чтобы сначала дали ему разобраться с паром и никого рядом не было, потому что «у меня вон где парит, а он полезет под раму». Самойлова

хотела в башню — у неё был с собой оружейный мастер, который всю дорогу молчал и трогал вещи руками раньше, чем смотрел на них.

Они заговорили все разом, стоя между рельсами, и это был не скандал, а хуже: это были три правых человека.

— Стоп, — сказал я. — По очереди. Пётр Лукич, первое условие. Не «что вы хотите», а после чего можно пускать следующего.

Свиридов подумал.

— После того как я сброшу давление до безопасного и найду, где парит. Пока паром пахнет, под раму никто не лезет. Это час.

— Жаров.

— Мне бы, пока он с паром возится, тележку той платформы посмотреть, — сказал Жаров. — Это в хвосте, это от его пара за двести метров. Я туда не мешаю никому.

— Рябцев, хвост смотрен?

— Хвостовая площадка — смотрена, с крестом. Платформа с тележкой — нет.

— Тогда, Жаров, ты ждешь, пока Рябцев дойдёт до неё, и это не обсуждается.

— Да там же...

— Там же, — сказал я, — неделю назад один такой всё посмотрел глазами и полез, и его вытащили без ноги. Ты мне нужен с ногами. Готовь инструмент снаружи, разложи, что понадобится, чтоб потом не бегать.

Он поворчал и пошёл раскладывать.

— Вера Игнатьевна.

— Я жду, — сказала Самойлова спокойно. — Мне в башню, и мне достаточно одного фонаря и одного человека. Я хочу знать одно: имеет смысл возиться с этим орудием или нет. Если затвор битый и снарядов к нему пять штук, то нечего и огород городить. Скажу тебе через двадцать минут после того, как меня туда пустят.

— Рябцев пустит тебя первой, как только закончит с котельным.

— Вот и славно.

Так у нас и выстроилась очередь, и она была короткая и неприятная для всех: сначала сапёр, потом машинист с паром, потом орудие, потом ходовая часть. И инструмент лежал снаружи, разложенный на брезенте, и люди стояли у брезента и ждали.

Ждать было холодно — летняя ночь к этому часу взяла своё, — и вот тогда случилась вещь, которой я не планировал и которая, наверное, была важнее всей моей очерёдности.

Бойцы Юдина, сменившиеся с постов, сели у проверенного борта бронепаровоза, подальше от утечки пара, привалившись спиной к броне.

Она была тёплая.

Она была тёплая, как печка, — за ней дышала топка; сталь нагрелась за время хода и теперь отдавала тепло, и в неё можно было упереться лопатками и вытянуть ноги.

Сначала сел один, потом двое, потом там сидело человек восемь, и они передавали друг другу флягу с водой, и никто не говорил громко.

— Гляди, — сказал Дуров, задрав голову. — Вот отсюда он по нам и сажил.

Он показывал на амбразуру соседней площадки. Изнутри, из открытой двери, было видно железное нутро: клёпаные листы, скамьи, стеллажи, лампа на проволоке, чей-то оставленный котелок на полке.

— Толстая, — сказал кто-то и постучал по броне костяшками. — Чуешь? Тут тебе не изба.

— В избе печка лучше.

— В избе тебя и убить легче.

Я стоял в стороне и смотрел на них, и вот тут меня накрыло.

Мы полтора года воевали против железа, у которого всегда была крыша, всегда были стены и всегда — тепло. Мы лежали в воде под Ржевом, в снегу под Москвой, в мокром жнивье у Взгорья, а оно приходило, било и уезжало ночевать.

А сейчас восемь моих сидели спиной к этому железу и грелись.

Никакого отдыха у нас ещё не было. Никто не ел, посты стояли, пленных считали, и до рассвета надо было решить три задачи, ни одна из которых не решалась. Но эти восемь человек уже сидели внутри победы, и я не стал их поднимать.

Потом я достал из кармана гимнастёрки то, что там лежало под бумагами, — копию, которую сделал Абрам Львович Штейн в мой майский отпуск прошлого года. Уголок уже обломался, но двенадцатилетний Федя Гнутов по-прежнему стоял крайним слева у поленницы, серьёзный, с заплатой на штанине. Котелка у меня давно не было, я отдал его матери и рассказал ей всё, что мог рассказать. Осталась эта карточка.

Я посмотрел на неё при свете фонаря секунд десять и убрал обратно. Не потому, что решил что-то. Просто в такие минуты я всегда про него вспоминаю, и мне почему-то кажется, что он бы влез в эту броневую коробку первым и потом всем рассказывал.

Александре Тимофеевне я должен был письмо с четверга. Я подумал, что напишу завтра, и что надо будет написать не про бронепоезд, а про то, как мой обходчик Кузьмин стучал молотком по стыкам в двадцати шагах от немца, потому что у него такая работа.

В двадцать два двадцать Рябцев вылез из котельного отделения и позвал меня.

— Товарищ старший лейтенант. Подойдите.

Он стоял у прохода в тендер, там, где стены были обшиты железом, а справа, под самой крышей, висел небольшой ящик — навесной шкаф с откидной дверцей, каких на паровозах бывает по несколько: под инструмент, под флажки, под бумаги.

— Я его смотрю в очередь, — сказал он. — Он в моём списке был последним, потому что он пустяковый. Я его открыл и вот.

Он посветил внутрь.

Внутри лежали свёрнутые в трубку бумаги, жестянка с карандашами, две сигнальные ракеты в гнездах и сложенная вчетверо карта.

Проверив ящик и бумагу, Рябцев вытащил карту за край, положил на откинутую дверцу и осторожно расправил сгибы. Я придержал угол, пока он светил сверху.

Карта была немецкая, участок наш — с рекой, с насыпью, с нашей станцией в углу. Поверх печати шли пометы цветными карандашами: синим обведены разъезды, чёрным зачёркнут наш узел, а на мосту через реку, в двадцати двух километрах западнее, стоял жирный красный крест.

Рядом с крестом, сбоку, аккуратной немецкой рукой была выведена строчка цифр, и в ней читалось время.

04:10.

— Помет не стирать, — сказал я. — Берём целиком. Со всем, что вокруг написано. Гуревича сюда.

Рябцев посветил ещё раз и, не поворачивая головы, спросил то, о чём я думал сам:

— Товарищ старший лейтенант. А это который мост? Тот, по которому через три дня состав пойдёт?

— Тот самый, — сказал я и посмотрел на часы.

Часы показывали двадцать два двадцать пять.

Глава 3



Гуревич подошёл с фонарём, и мы втроём склонились над картой, уже расправленной на откидной дверце шкафа в тендере. Рябцев держал свет, я придерживал загибавшийся угол.

Мост был обведён красным. Не вообще мост — вот этот, наш, в двадцати двух километрах западнее узла, через который через три дня должны пойти эшелоны на плацдарм. Рядом с крестом стояло время: 04.10.

Я посмотрел на свои часы. Двадцать два двадцать пять.

— Пять часов сорок пять минут, — сказал Рябцев, отведя фонарь от моей руки.

— До их отметки, — сказал я. — А приехать нужно раньше.

В проходе тендера было тесно, пахло горелой краской, чужим маслом и той кисловатой гарью, которая держится в железе после боя. Внизу, вдоль насыпи, ещё ходили с фонарями — собирали своих и чужих, разводили пленных, — и кто-то время от времени стучал железом по железу, и в тендере этот стук отдавался так, будто били по нашей собственной голове.

— Гринёв, — сказал Рябцев, не отрываясь от карты, — ты понимаешь, что нам туда ехать.

— Понимаю.

Рябцев постучал костяшкой по стенке.

— На этом.

— Если мастера разрешат, — сказал я. — Иначе добираться землёй.

Он наконец поднял глаза. У Рябцева было узкое лицо, вечно чем-то перепачканное, и привычка смотреть мимо собеседника, когда он думает, и прямо в глаза, когда он несогласен. Сейчас он смотрел прямо.

— Я эту машину ещё не досмотрел, — сказал он. — Я пока только подходы проверил и одну подрывную линию отсёк. Это разные вещи. Я тебе за неё пока не отвечаю.

— За неё отвечает не один человек, — сказал я. — И вот с этого мы и начнём.

На станции в тот час было четыре начальника, и все четыре были правы.

Начальник станции требовал, чтобы на его путях ничего больше не взрывалось. Железнодорожный мастер — сухой, злой от бессонницы старик по фамилии Гордеев — требовал, чтобы к трофею не подходили с ломом люди, не знающие, где у него что. Седов с соседнего участка требовал, чтобы бронепоезд к утру стоял у моста и стрелял. А военфельдшер требовал освободить третий путь, потому что по нему через час должен подойти медицинский летучий с ранеными.

Я отдал третий путь медицине и получил за это от Седова тяжёлый взгляд.

— Гринёв, — сказал он мне вполголоса, когда мы вышли на насыпь, — ты сейчас потратишь ночь на то, чтобы тебе разрешили. А потом рассветёт.

— Я сейчас потрачу ночь на то, чтобы машина доехала.

— Она уже доехала. Она вон стоит.

— Она стоит, — согласился я, — потому что её остановили и она никуда больше не поехала. Это две разные исправности, Седов.

Седов дёрнул щекой. Он был неглупый человек и злился ровно потому, что понимал, о чём я говорю, и всё равно считал, что время дороже.

— Мне к четырём нужен огонь у моста, — сказал он. — Хоть с рельсов, хоть с неба.

— До двух решим, выезжать ли. К четырём надо уже работать у моста. Наземную группу отправляй сейчас, чтобы не зависела от машины.

Франца привели в одиннадцать.

Я нарочно распорядился так, чтобы он не увидел ничего лишнего: пленных держали в кирпичном отсеке депо, под охраной, и с ними уже работали те, кому это положено, — а в машину я его вёл только к одному отсеку и по одному маршруту.

Он шёл между двумя бойцами, маленький, чёрный от угля так, что не отмылся за время после сдачи, в расстёгнутой куртке и без ремня. Переводчиком у нас в ту ночь был Гуревич из полковой разведки, тот самый бывший учитель, который принимал сдачу экипажа.

— Всем выйти из котельного, — сказал я. — Гордеев, ваши тоже. Останутся машинист, Рябцев, переводчик и я. Остальные ждут снаружи и не заглядывают.

— А чего это? — обиделся кто-то из ремонтников.

— Того, — сказал Рябцев, — что если он вам покажет не то, я хочу, чтобы не вы стояли рядом.

Внутри было жарко и очень тесно. Котёл ещё держал тепло — его не гасили до конца, — и от этого всё железо было тёплым, живым, и пахло углём и паром.

Гуревич спрашивал ровно то, что я велел, и ничего сверх.

— Спроси его: где в этом отсеке места, которыми пользовался экипаж. Не что тут есть вообще, а к чему тянулись руками.

Гуревич перевёл. Франц ответил длинно, показывая: сюда — инжектор, сюда — продувка, вот эта рукоятка, вот эти два вентиля, вот сюда лазил он сам с длинной маслёнкой.

— Дальше. Когда состав встал и стало ясно, что дальше не пойдёт, что делал командир?

Тут Франц замолчал.

Он стоял, опустив руки, и смотрел не на нас, а на заклёпку в стене. Потом заговорил быстро и тихо.

— Он говорит, — сказал Гуревич, — что командир прошёл сюда. Вот через этот проход. И пошёл не к топке, а туда, за арматуру. Он говорит, что тогда закричал ему... одно слово. И что командир на него посмотрел и вернулся обратно.

— Он тянулся руками куда?

Франц показал. Не ткнул пальцем — показал ладонью, целым движением, от плеча: туда, вниз, под паровой коллектор, за путаницу труб, где в темноте не видно вообще ничего.

— Дальше не спрашивай, — сказал я Гуревичу. — Пусть стоит и молчит.

Рябцев взял фонарь и полез.

Он лез долго. Он лез так, как лезут сапёры — не быстрее, чем позволяет то, что уже видно, — и один раз попросил меня подержать фонарь под другим углом, и один раз сказал: «Не дыши мне в затылок, Гринёв», и я отодвинулся.

— Есть, — сказал он наконец, не вылезая. — Есть коробка. Прижата хомутом к трубе, сверху накинута ветошь. Если б он не показал, я б её нашёл... — Он помолчал. — Я б её нашёл к утру. Может быть.

— Провод?

— Провод есть. Короткий, уходит вверх и вбок. — Он ещё повозился. — Я его пока не трогаю, потому что не вижу, что на другом конце.

Он вылез, сел на корточки у стены и вытер лицо предплечьем.

— Так, — сказал он, повернувшись к человеку у топки. — Теперь без вас не подлезу.

Свиридов успел сбросить лишнее давление и передал машину сменному машинисту. Того звали Тихон Ильич Бережной. Он был маневровый, станционный, лет за пятьдесят, широкий, с медленными руками, и всю эту ночь он больше молчал, чем говорил, а если говорил, то короткими фразами и в основном о деле.

— Тихон Ильич, — сказал Рябцев. — Мне надо, чтобы вот тут у меня рука была в безопасности. Чтобы, если я эту трубу задену, мне в лицо не ударило.

Бережной не ответил сразу. Он пошёл вдоль стены, глядя не на то место, куда показывал Рябцев, а на всю арматуру целиком, и потрогал два вентиля, и один из них медленно, на четверть оборота, прикрыл, прислушиваясь. Где-то внутри машины изменился звук.

— Это не наша, — сказал он наконец. — Это немецкая, у них тут иначе собрано. Я по маркам не читаю.

— А по повадке?

— По повадке читаю. — Он ещё раз прошёлся. — Вот эта — питание. Вот эта на инжектор. А эта, — он положил ладонь на маховичок, — эта, я так думаю, отсечная на коллектор. Сейчас проверю.

— Как проверите?

— По манометру и по слуху, — сказал Бережной. — Я её закрою, а вы, молодой человек, стойте и не мешайте.

Он закрыл, дождался, посмотрел на стрелку, послушал. Потом открыл обратно на четверть, снова послушал.

— Да, — сказал он. — Она. Теперь закрываю совсем и стравливаю участок. Через пять минут там будет тепло и пусто. Голыми руками не берите, обожжётесь, а под давлением уже не ударит.

— Пять минут меня устраивают, — сказал Рябцев.

Мы стояли и ждали эти пять минут, и всё это время Франц стоял у переборки между двумя бойцами и смотрел в пол.

Я тогда впервые за вечер посмотрел на него как на человека, а не как на источник сведений.

— Гуревич. Спроси: почему он крикнул тогда командиру.

Переводчик спросил. Франц ответил коротко, двумя словами, и Гуревич даже переспросил.

— Он говорит: «Там были мы».

Я убрал приготовленный карандаш. Франц всё ещё смотрел на заклёпку; я дождался, пока он переведёт дыхание, и больше ничего не спрашивал.

Рябцев работал двадцать с лишним минут. Из отсека слышно было, как он изредка шевелится и как звякает металл о металл, и один раз он сказал вполголоса что-то очень нехорошее,

и я почувствовал, как у меня по спине пошёл холод, — но он тут же добавил: «Нормально, ветошь примёрзла к смазке, не то подумал», и стало легче.

Он вылез с коробкой в руках. Держал её на вытянутых, как держат чужого кота.

— Отдельно, — сказал он. — Я сам отнесу за стрелку, в яму. Двое пусть освободят дорогу, к коробке не подходить. Цепь я разомкнул, но разбирать буду там. И запишите в журнал: котельное отделение, устройство снято в двадцать три сорок, помещение допущено.

— Кто допускает?

— Я допускаю, — сказал Рябцев. — До этой минуты допуск был только к проверенному проходу. Теперь можно работать у арматуры. Что не отмечено, по-прежнему не трогать.

Он сам перевесил на дверь отсека фанерку, на которой углём было написано «НЕ ВХОДИТЬ», перевернул её и написал с другой стороны: «Проверено. Рябцев. 23.40».

Франца увели тогда же. Гуревич записал с его слов всё, что тот успел показать, и прочитал ему вслух по-немецки — не из вежливости, а чтобы потом не вышло, что мы услышали не то. Франц кивнул.

Уже в дверях он остановился и сказал что-то, повернув голову.

— Он спрашивает, — сказал Гуревич, — можно ли ему остаться при машине. Он говорит, что знает котёл.

Ремонтники, стоявшие снаружи, слышали и заворчали — кто одобрительно, кто нет, и кто-то сказал: «А что, пусть кидает уголь, раз кидал».

— Нет, — сказал я.

Франц слушал, как переводят, и лицо у него не изменилось. Он, по-моему, и не ждал другого ответа.

— Переведи ему точно, — сказал я Гуревичу. — Его сведения приняты и записаны. Это учтут. Но он военнопленный, а не член экипажа, и на машине, которая идёт в бой, ему места нет. Не потому, что я ему не верю, а потому, что я не имею права ставить человека в положение, где он либо предаёт своих, либо мешает нам.

Гуревич перевёл. Франц выслушал, коротко кивнул и пошёл между конвойными.

— Жёстко, — сказал Гордеев, когда мы вышли.

— Честно, — сказал я. — Он сегодня один раз уже выбрал, и ему это дорого обошлось. Второй раз я его выбирать не заставлю.

Самойлова к этому времени сидела в оружейной башне вместе с артиллерийским мастером и, судя по звукам, была недовольна.

Вера в ту ночь была в комбинезоне, перемазанная, с фонарём, привязанным к пуговице на верёвочке, чтобы не выпал, и разговаривала с мастером на том языке, из которого я понимал одно слово из трёх.

— Гринёв, — сказала она, не оборачиваясь, — ты пришёл спросить, будет ли стрелять?

— Пришёл.

— Стрелять будет.

— Хорошо.

— Не хорошо. — Она наконец выпрямилась и повернулась. — Слушай внимательно, потому что я это скажу один раз, а потом ты будешь строить свои планы. Орудие исправно. Затвор работает, накатник в порядке, я его сама прогнала. Но у меня к нему двадцать два выстрела, из них восемь — не тот тип, который я хотела бы иметь, и я не знаю, как они себя поведут. Панорама разбита. Понимаешь, что это значит?

— Что ты не можешь работать с закрытой позиции.

— Что я вообще не могу работать, кроме как прямой наводкой по тому, что вижу в ствол и в этот вот огрызок. — Она постучала пальцем по оптике, в которой поперёк стекла шла трещина. — Мастер говорит, что клейка была ещё до нас, немцы сами мучились. Я тебе не гаубица, Андрей. Я тебе ружьё большого калибра на колёсах.

— Мне и надо ружьё, — сказал я. — Мне надо давить то, что откроется в двухстах — восьмистах метрах от полотна, и давить сразу.

Вера подумала.

— Вот это я тебе обещаю, — сказала она. — Это я умею. А вот если ты мне в четыре часа скажешь: Вера, положи за лесом по площади, — я тебе отвечу словами, которых при мастере не говорят.

— Не скажу.

— Ну и договорились.

Ходовую второй платформы начали осматривать одновременно с котлом; забраковали её в двадцать три двадцать пять.

Её смотрели Гордеев и Жаров после того, как Зотов, по поручению Рябцева, проверил доступную часть платформы и разрешил работать у тележки. Сам Рябцев ещё оставался у котельного отделения. Я специально пришёл и стоял рядом, потому что хотел видеть разницу между «надо чинить» и «можно починить за то время, которое есть».

— Показывай, — сказал я Жарову.

Николай Жаров за время после освобождения стал шире в плечах и обзавёлся привычкой вытирать руки перед тем, как что-нибудь объяснять, — будто чистыми руками объясняется понятнее.

— Вот, — сказал он и присел у тележки. — Свети сюда, Тимоха.

Тимохин посветил.

— Видишь? Тут у неё рессорный лист лопнул, и не один, а два. И вот сюда, — он показал, — ушло. Она на прямом пойдёт. Она и на стрелке пойдёт, если тихо. А если её тряхнёт как следует — ляжет.

— Сменить можно?

— Сменить — сутки, — сказал Гордеев. — Домкраты, выкатка, рессору где-то взять. Тут в депо нет.

— А подвязать?

Жаров посмотрел на меня без осуждения, но твёрдо.

— Подвязать можно, — сказал он. — Только это будет подвязано. Я тебе честно скажу, Андрей Кузьмич: я тебе её подвяжу, и она, может, дойдёт. А может, сядет поперёк пути в самом неудобном месте, и ты потом будешь не мост спасать, а её вытаскивать. И перекроешь себе обратную дорогу.

— Сколько на ней груза?

— Она пустая почти. У неё там пулемётные гнёзда и ящики.

— Тогда решаем так, — сказал я. — Платформу отцепляем и оставляем на станции. Всё, что с неё нужно и что можно быстро снять, — снять и переложить.

Седов, подошедший к концу разговора, сказал:

— У тебя огневых точек меньше станет.

— Станет, — сказал я. — Зато у меня будет состав, который доедет.

Он ничего не ответил, потому что возражать было нечему, и отошёл.

Жаров с железнодорожниками возился со сцепкой ещё минут сорок. Перекладывали пулемёты — два взяли в головной, один поставили на тендер, ящики с лентами распределили так, чтобы они не лежали в одном месте и чтобы к ним был подход. Тимохин таскал, сопел и один раз чуть не уронил ящик себе на ногу, за что Жаров сказал ему всё, что полагается.

К тому времени Сидельников с путейцами восстановил разобранные нами за составом стыки, проверил крепления и открыл путь для маневров. Неисправную платформу осторожно откатали на дальний путь; обгоревшую головную и лишнюю хвостовую тоже оставили под охраной. Гордеев сам повесил на неё бирку и написал мелом по борту: «Рессора. Не подавать».

— Так-то оно честнее, — сказал он мне. — А то через неделю какой-нибудь ухарь прицепит и повезёт.

Состав получился короче, чем был утром у немцев: паровоз с тендером, головной бронированный вагон с оружейной башней и пулемётами, вагон, который мы называли между собой связным, — там стоял телефон и там же мы устроили людей, — и одна контрольная платформа впереди, пустая, с песком и шпалами по бортам.

Он стал меньше. И он стал мой.

Испытание вышло в четверть первого, и это была самая спокойная и самая нужная работа за всю ночь.

Перед тем как тронуться, Бережной слез с паровоза и подошёл ко мне. Сам подошёл — до того он всё больше отвечал, когда спрашивали.

— Товарищ старший лейтенант. Один вопрос, и я поеду.

— Слушаю.

— Кто мне может сказать «стой» так, чтобы я стал немедленно и не спрашивал?

Я подумал ровно секунду. Тут думать было не о чем.

— Вы сами, — сказал я. — Первым. Всегда.

Он моргнул.

— А из ваших?

— Из моих — я. И Рябцев, если он на путях. И мастер. Больше никто.

— А если ваш боец увидит что-нибудь и закричит?

— Тогда он закричит мне, а я вам. Но если ваш собственный слух вам скажет «стой» — вы становитесь и никого не спрашиваете, и я вас за это не спрошу тоже.

Бережной подумал.

— Это правильно, — сказал он. — Только вы его тогда покажите.

— Кого?

— Знак. Чтобы я его с места видел. У меня из будки, товарищ старший лейтенант, обзор — вот такой. — Он показал руками узкую щель. — Мне ваши крики ни к чему, у меня машина шумит.

Мы полезли в будку вдвоём, и я сел на его место, и оказалось, что он прав: из окна была видна полоса полотна впереди-справа и почти ничего сбоку. Мы попробовали три места, откуда можно подать знак, и остановились на одном — на площадке связного вагона у левого борта, где человек с фонарём виден и на прямой, и на кривой.

— Два длинных круга фонарём — стой, — сказал Бережной. — Не мигать. Мигание я в темноте за отблеск приму. Круги.

— Осипов!

Осипов возник снизу, как всегда, — он был из тех людей, которые всегда оказываются в двух шагах.

— Я.

— Запоминай и передай всем: остановка — два медленных круга фонарём с площадки связного, левый борт. Один человек. Кто попало туда не лезет.

— А если фонарь разобьют?

— Тогда я прибегу ногами, — сказал я. — Но фонарь ты мне обеспечишь запасной.

— Два запасных, — сказал Осипов и исчез.

Шли мы километр с небольшим — до выходной стрелки и обратно.

Я стоял на площадке и слушал, как эта штука идёт.

Она шла тяжело и странно: не как поезд, а как что-то живое и больное. Броня гудела. На стыках по всему составу шёл лязг, и этот лязг отдавался в подошвах. Впереди, за контрольной платформой, лежала чернота, и в ней иногда возникали и исчезали белые пятна — это Рябцев

с двумя сапёрами шёл впереди, освобождая нам путь, и его фонарь то появлялся, то пропадал за насыпью.

Сапёры Рябцева успели до нашего выхода пройти этот километр дважды и доложить: «чисто». Теперь он сам шёл впереди, проверяя их отметки, и я знал, чего стоила эта работа, потому что недавно здесь ходила немецкая разведка.

Гордеев ехал в будке и всю дорогу молчал, положив ладонь на стену, как кладут ладонь на бок лошади.

На обратном ходе он снял ладонь и сказал:

— Стой.

Бережной стал сразу. Без вопросов, без «где», без «чего». Состав прошёл ещё метров тридцать по инерции и встал, и в наступившей тишине стало слышно, как где-то сзади сыплется песок с платформы.

Я спустился с площадки на балласт.

— Что? — крикнул я снизу.

— Грется, — сказал Гордеев, уже слезая. — Не слышите? Идёмте.

Он пошёл вдоль состава, считая тележки, и остановился у третьей.

— Вот.

От буксы шёл запах. Не дым, а именно запах — горелого сала, тяжёлый и сладковатый, и когда Жаров сунул туда руку, он тут же отдернул её.

— Ох ты, — сказал Жаров. — Горячая.

Сзади уже подтягивались люди. Кто-то сказал: «Да ладно, доедем», и я услышал, что это сказал не один человек, а двое или трое, потому что все устали и всем хотелось, чтобы испытание было формальностью.

— Тихо, — сказал я громко. — Слушаем мастера.

Гордеев присел, посветил, потрогал тыльной стороной пальцев.

— Подбивка сбилась, — сказал он. — И масла мало. Она у вас сейчас грелась потихоньку, а на двадцати двух километрах она вам загорится. И тогда либо ось заклинит, либо вы её на ходу спалите.

— Чинить?

— Тут чинить нечего, тут набить и залить. — Он повернулся к Жарову: — Молодой человек, вы мне пакли дадите? Только чистой.

— Дам, — сказал Жаров. — Тимоха, тащи фонарь и вон тот ящик. И маслёнку, большую. Они работали вдвоём, а Гордеев показывал.

Жаров выгребал горячую подбивку стальным крючком, а старик стоял над ним и говорил: «Не туда. Ниже. Вы её всю выберите сначала, а потом кладите, а то вы поверх старого положите, и оно у вас опять собьётся». Жаров злился, пыхтел, но делал, как сказано, и ни разу не возразил, и вот это мне в нём нравилось всегда: он умел быть старшим там, где старший он, и младшим там, где старший другой.

Тимохин держал фонарь и смотрел во все глаза.

— А почему сбилась-то? — спросил он.

— Потому что по ней стреляли, — сказал Гордеев, не оборачиваясь. — И потому что её месяц не смотрели. Немец её тоже, видать, добивал.

Когда набили и залили, Гордеев велел проехать ещё двести метров вперёд и назад, потом опять слез и потрогал.

— Тёплая, — сказал он. — Но тёплая, а не горячая. Разница есть?

— Есть, — сказал Жаров.

— Вот и запомните на всю жизнь.

Стреляли мы один раз.

Вера выбрала направление сама и согласовала его так, что на это ушло больше времени, чем на сам выстрел: на юго-запад, в пустой отвал за карьером, где нет ни наших, ни жилья, и куда она полчаса назад посылала человека посмотреть глазами.

— Всем, кто не в башне, — уйти на сорок шагов и не стоять у борта, — объявила она. — Тимохин, тебя это тоже касается. Уши открыть, рот открыть.

— Чего открыть? — не понял Тимохин.

— Рот, — сказала Вера. — Барабанные перепонки пожалей.

Выстрел ударил коротко и зло, и по броне пошла волна, и в связном вагоне что-то упало. Отдача, откат, накат — Вера следила за этим сбоку, оставив за казёнником свободное место, и лишь после возвращения ствола подошла осмотреть затвор и что-то говорила мастеру вполголоса.

— Ну? — спросил я.

— Работает, — сказала она. — Один выстрел — это один выстрел, Гринёв. Это не значит, что она выдержит двадцать. Это значит, что она не разорвалась на первом, и я теперь знаю, как она себя ведёт.

Гордеев подошёл ко мне, когда состав уже загнали обратно на второй путь.

— Значит, так, — сказал он. — Я вам скажу при всех, а вы запишите.

Люди подтянулись. Стояли — человек двадцать: мои, железнодорожники, Жаров с Тимохиным, Вера у борта.

Глава 4



— Машина ваша годна на один рейс, — сказал Гордеев. — В ту сторону и обратно, по тому пути, который вы назвали, и не быстрее двадцати пяти. Букса под наблюдением: через каждую остановку — трогать рукой. Если пойдёт запах — стоять, и не спорить со мной, потому что вторично спорить я не стану. После возвращения — в депо, в ремонт, и до ремонта я на ней ездить не разрешаю никому и ни для какой надобности.

— А если она понадобится? — спросил кто-то из наших.

— А если она понадобится, — сказал Гордеев, — то придёте ко мне и скажете. И я, может быть, разрешу, а может быть, нет. И это будет моё слово, а не ваше.

— Записал, — сказал я. — Осипов, передашь в штаб полка дословно. И добавь, что я эти ограничения принимаю и беру под свою ответственность.

Осипов ушёл к аппарату и вернулся через двадцать минут.

— Разрешили, — сказал он. — Дословно так: рейс разрешён, задача — не допустить подрыва моста, ограничения мастера соблюдать, при невозможности движения состав не бросать, доложить. И ещё подполковник сказал... — Осипов помялся.

— Говори.

— Он сказал: «Передай Гринёву, что если он мне привезёт назад паровоз без людей, я его не похвалю».

— Понятно, — сказал я. — Мельников!

Мельников подошёл — он как раз шёл ко мне сам, с бумажкой.

— Сколько людей я забираю?

— Из нашей роты по твоему расчёту — двадцать шесть, — сказал он. — Я тебе тут посчитал, что остаётся. В ближайшей смене остаётся тридцать один; остальные распределены между путями, резервом и отдыхом, из этой смены девять на постах по периметру, шесть у

депо с пленными, остальные резерв и смена. Охрану пленным я не трону: в отсеке и мастерской сорок семь человек, и там Седовские тоже ходят кругами.

— Стрелки?

— Стрелки я поставил своих, по двое. Начальник станции сначала кричал, что это его дело, потом согласился, что ночью на его дело смотреть некому.

— Хорошо.

— Не совсем, — сказал Мельников. — Ты у меня забираешь Осипова.

— Забираю.

— Значит, у меня на станции связь остаётся на Пахомове, а Пахомов у меня не мастер. Я его посажу на аппарат и не дам никуда ходить. Если у тебя там линия пропадёт — ты знай, что это, скорее всего, не он бросил, а просто он не умеет искать обрыв.

— Принял.

Второй вагон мы чистили сами.

Начали ещё с вечера, пока Рябцев сидел в котельном и к машине нельзя было подступиться, а доделали уже после испытания. И чистили его те, кому потом в нём сидеть, — я это сказал вслух, и это оказалось важно, потому что работа сразу пошла иначе.

Немцы держали там что-то вроде дежурного помещения: лавки вдоль бортов, стол на кронштейне, печка. Во время боя внутри рвануло гранатой — не нашей, их же, потому что кто-то из них бросил её уходя, — и вагон был засыпан осколками стекла, обрывками тряпья и чем-то ещё, что в темноте было лучше не разглядывать.

— Значит, так, — сказал я. — Сначала опасное. Всё стеклянное, всё острое, всё железное с краями — за борт, в отдельную кучу. Потом чужое.

— Чужое куда? — спросил Тимохин.

— Чужое в угол, в мешок, и мешок я потом сдам. Не растаскивать.

— А если там...

— Тимохин.

— Понял, — сказал Тимохин.

Работали минут сорок. Выгребли стекло, вытащили две развороченные лавки, отодрали от стены обгорелую занавеску. Под лавкой нашли ранец, в ранце — бритву, письма и фотографию женщины с двумя детьми, и Юдин принёс это мне на вытянутой руке, не разбирая содержимого.

— Всё в мешок, — сказал я. — Мешок помечен, сдадим утром.

Зато проход к двери освободили весь, и я велел его больше ничем не занимать: если по нам попадут, из этого железного ящика должен быть выход, а не очередь.

И когда всё это сделали, вагон вдруг оказался — комнатой.

Тёплой, потому что печку затопили обломками тех же лавок. Сухой. С лавками вдоль бортов, на которых можно сидеть. Со столом, который Жаров тут же поправил, потому что у него кронштейн был выворочен, и он не мог пройти мимо кривой вещи.

Кухня подъехала в первом часу, и подъехала удачно: подводчики увидели свободный проход и подали котлы прямо к двери, без давки и без этого вечного «дай сюда, мне на пост».

— Едим сменами, — объявил Мельников. — Первая — те, кто идёт в рейс. Вторая — постовые, их сменяют и они едят вторыми, и им оставлено. Кто полезет вперёд очереди — будет есть последним и холодное.

Это была старая наша формула, и она действовала.

Я сидел на лавке у стены с котелком и в первый раз за сутки почувствовал, что у меня спина разгибается.

Вокруг ели человек двенадцать. Гудела печка. Осипов возился со своим аппаратом в углу и одновременно жевал. Где-то за стеной, в паровозе, слышно было, как переговариваются железнодорожники.

Тимохин снял сапоги и поставил их сушиться — прислонив голенищами прямо к тёп-
лому листу у печки.

— Эй, — сказал старый кочегар.

Кочегара звали Емельян Саввич, и он был ещё старше Гордеева, и весь вечер ходил в
своей брезентовой куртке с обгорелым рукавом. Он сидел на ящике у двери.

— Эй, ремонтник. Ты сапоги-то убери оттуда.

— Так сохнут же, — сказал Тимохин.

— Они у тебя не сохнут, они у тебя варятся. — Емельян Саввич встал, подошёл, взял
оба сапога и переставил их. — Вот сюда. На полшага дальше и боком.

— А какая разница?

— Такая, что кожа от железа коробится, — сказал старик. — Она сожмётся, и ты в них
ногу не всунешь. Или всунешь, а через час у тебя мозоль, а тебе бежать. Суши на расстоянии.
Тепло должно доходить, а не жарить.

Тимохин посмотрел на сапоги на новом месте с сомнением, но не полез их двигать
обратно.

— Спасибо, — сказал он.

— Не за что.

Тимохин помолчал, потом спросил — и я по его лицу видел, что он собирался с духом:

— Емельян Саввич, а вот вы... вы по звуку слышите, что там у него внутри?

— Слышу.

— А как?

Старик пожевал губами.

— А вот сейчас послушай, — сказал он. — Иди сюда, к двери. Слышишь?

Из-за стенки шёл ровный, глухой и какой-то домашний гул — так гудит печь в избе, когда
тяга хорошая.

— Слышу.

— Вот это он дышит спокойно. — Емельян Саввич поднял палец. — А теперь помолчи
и слушай дальше. Слышишь, как вода шумит, когда инжектор берёт? Такое... шшшш. Это
хорошо, это он пьёт. А вот если он вместо этого начнёт кашлять — вот так, отрывками, —
значит, воздух пошёл, значит, где-то сосёт, и надо смотреть.

— А если он молчит?

— Ты умный, — сказал старик одобрительно. — Если он молчит там, где должен шуметь,
— это хуже всего. Это либо не работает, либо человек не включил.

— А я могу научиться?

— За ночь нет, — сказал Емельян Саввич спокойно. — За ночь ты можешь научиться
одному: слышать, когда изменилось. Ты сейчас сиди и запоминай, как оно сейчас. И если через
два часа станет иначе — скажи. Не мне, а Тихону Ильичу. И не говори, что сломалось. Скажи:
было так, а стало эдак.

Тимохин сунул ноги в сапоги, не затягивая, дошёл до двери и сел на ящик рядом со
стариком. Сквозило по щиколоткам; он подтянул ноги и всерьёз стал слушать.

Я смотрел на него и думал, что вот так, наверное, оно и передаётся: не приказом, не
курсами, а тем, что старик из другого ведомства объяснил мальчишке на понятном ему звуке.

Зими́на появилась около часа, и это было в её манере — возникнуть там, где не ждали,
и без всякого «разрешите».

Она влезла в вагон со своим кофром, встала в дверях, огляделась, и по лицу у неё было
видно, что она уже выбрала кадр.

— Товарищ старший лейтенант.

— Анна Владимировна.

— Я не буду просить постройться, — сказала она. — Я знаю, что вы скажете.

— И что я скажу?

— Что вы под звонницей уже стояли, — сказала Зими́на. — Вы мне это однажды сказали, и я с тех пор так и не научилась это забывать.

В вагоне засмеялись — хотя никто, кроме нас двоих, не понял.

Она поставила кофр на лавку и обратилась ко всем — громко, но без нажима:

— Товарищи, я сейчас сниму. Объясняю сразу, чтобы потом не было обид. Я снимаю для фронтового листка, это значит, что карточка может попасть в газету, и её увидят чужие люди. Кто не хочет в газету — скажите, я вас не буду ставить в кадр или сниму отдельно. Кому нужна карточка домой — тоже скажите, я сделаю отдельно и отдам вам на руки. Это не одно и то же, и я никого не обманываю.

Пауза была секунды три, а потом сразу двое сказали, что домой хотят.

Третьим поднял руку Астахов, немолодой боец из пополнения, тихий и очень аккуратный.

— Мне бы только домой, — сказал он. — В газету не надо.

— Почему? — не удержался Тимохин.

Астахов посмотрел на него.

— У меня жена в Харькове осталась, — сказал он ровно. — Под немцем. Если карточка в газету попадёт, мало ли.

Стало тихо. Зими́на кивнула, будто это была самая обыкновенная вещь на свете.

— Вас — отдельно, — сказала она. — И я вам её отдам в руки, из рук в руки, и негатив пометим.

Она закрыла светомаскировочные шторы, укрепила аппарат и предупредила про вспышку: во время снимка не двигаться. Несколько кадров заняли минут десять; после каждой вспышки она ждала, пока дым уйдёт к вытяжке.

Снимала, как ели: Осипов с котелком на коленях и трубкой у уха, Тимохин, слушающий стенку, Емельян Саввич на ящике у двери со своей кружкой. Один раз попросила меня не смотреть в объектив и замереть с котелком в руках, и я, честно говоря, не знал, что я делал, и получилось, наверное, глупо.

Астахова она сняла потом, у стенки вагона, одного, и он для этого снял каску, пригладил волосы и застегнул шинель на все крючки, и лицо у него стало торжественное и жалкое одновременно, как у всех нас, когда мы снимаемся для дома.

— Готово, — сказала Зими́на. — Карточку принесу, когда проявлю. Если я к утру не появлюсь, значит, проявляю, а не потерялась.

— А если мы к утру не появимся?

Это сказал кто-то от печки — не зло, а тем беспечным тоном, каким такие вещи и говорят.

Зими́на застегнула кофр.

— Тогда я её отдам вашим, — сказала она. — И подпишу правильно.

Алекса́ндре я понёс второй котелок в час десять.

Второй — потому что первый я съел сам, а второй мне налили из нашей же порции, и я это сделал открыто, при кашеваре, чтобы потом никто не рассказывал друг другу, что командир таскает еду на сторону.

Медицинский летучий стоял на третьем пути. Я шёл вдоль состава, и от вагонов пахло карболкой, и в одном месте кто-то очень тихо, на одной ноте, стонал, и это был самый обычный звук санитарного поезда ночью.

Она вышла на тамбурную площадку, когда я ещё не дошёл, — видимо, ей сказали.

Алекса́ндра была в халате поверх гимнастёрки и в платке, повязанном по-медицински, низко, и под глазами у неё лежали такие тени, что я сначала хотел сказать глупость вроде «вы не спали», но вовремя не сказал.

— Андре́й Кузьми́ч, — сказала она. — Вы с котелком.

— Я с котелком.

— Это что?

— Это каша. Она горячая. И я вам её отдам, только если вы её съедите при мне, а не «потом».

— Шантаж, — сказала она.

— Служебная необходимость. — Я протянул ей дужку котелка. Она перехватила через край халата, чтобы не обжечь пальцы.

Она засмеялась — коротко, тихо, чтобы не разбудить вагон, — и села прямо на ступеньку тамбура, подобрав полы халата.

Я сел рядом. Между нами на ступеньке стоял котелок, и мы ели по очереди, потому что ложка была одна: моя, та самая, которую я когда-то ей обещал и потом отдал, а она с тех пор её не потеряла, а носила в кармане халата, и вот теперь мы этой ложкой и ели.

— Она у вас?

— У меня, — сказала Александра. — Я её прячу. У нас ложки пропадают со страшной силой, я вам писала.

— Писали.

— Вы, по-моему, решили, что я шучу.

— Я решил, что вы шутите про ложки и не шутите про всё остальное.

Она посмотрела на меня искоса.

— Правильно решили.

Мы поели. Потом она поставила котелок на ступеньку ниже и сказала:

— Пришёл ответ про Климова.

Я повернулся к ней.

— Доехал?

— Принят в армейский госпиталь. Жив, в сознании. Лечиться ему долго, Андрей. Сегодня с попутной машиной передали записку, он попросил нашу санчасть переслать вам.

— От него?

— С его слов записали. Всё ему покоя нет. «Передайте Рябцеву уточнение», — она усмехнулась устало и тепло. — Я прямо слышу, как он это говорит.

— Что за уточнение?

— Госпитальная сестра записала. — Она достала из кармана халата сложенный вчетверо листок — не бумагу даже, а обрывок бланка. — Я в этом ничего не понимаю. Передаю, как прислали. Вот.

Я развернул и прочитал при свете фонаря, прикрыв ладонью.

«Рябцеву. Про боковой ход за третьим поворотом. За водой есть щель справа, оттуда тянуло воздухом. За ней я не был. При передаче про щель не сказал. Г. Климов».

Я долго смотрел на этот листок.

Есть вещи, от которых у меня внутри что-то поворачивается сильнее, чем от боя. Человек лежит с сожжёнными лёгкими, его увозят за двести километров, и последнее, что он делает, — просит передать, что он чего-то не доделал и чтобы на его слово не полагались.

— Сестра пишет: дважды попросил проверить адрес, — сказала Александра.

— Я передам.

— Сегодня?

— Сейчас, — сказал я. — Рябцев в двадцати шагах отсюда. И я вам потом скажу, что он ответил, чтобы вы могли ему написать.

Александра кивнула и вдруг положила руку мне на рукав — коротко, на секунду.

— Вот за это спасибо, — сказала она. — Мне передали только сейчас. Хорошо, что застала тебя.

Рябцева я нашёл у ямы за стрелкой — он всё-таки разобрал ту коробку и сидел над ней с разложенными на плащ-палатке деталями.

— Климов из госпиталя передал, — сказал я и подал листок.

Он взял, прочитал. Потом прочитал ещё раз.

— Вот же... — сказал он и замолчал.

— Что?

— Я до этой щели не добрался, — сказал Рябцев. — Основной проход сдали, а боковой всё ещё закрыт. Теперь понятно, где воздух идёт; туда и посмотрю.

Он свернул листок и убрал в нагрудный карман, застегнув пуговицу.

— Передай ей, — сказал он, — что уточнение принято. И что я туда пошлю двоих, когда вернёмся, а до того вход в боковой ход останется закрыт. Так и передай: принято, и пусть не мучается, он всё правильно сделал.

Я вернулся к санитарному вагону и передал слово в слово.

Александра слушала, сложив руки на коленях, и когда я закончил, сказала:

— Хорошо. Теперь я ему напишу.

— Вы ему пишете?

— Я всем пишу, кого увозят, если они меня просят, — сказала она просто. — Это иногда единственное письмо, которое человек в госпитале получает.

Экипаж я собрал в час двадцать пять, у схемы.

Схему Осипов пришил к стене связного вагона — большой лист, на котором он от руки, но аккуратно, начертил наш состав, полотно от узла до моста с километровыми отметками, отвороты, мост и просёлок вдоль полотна, по которому должен был идти Юдин со своими.

Я нарочно собрал всех вместе — и своих, и железнодорожников, — потому что до этой минуты у нас была рота и были железнодорожники, а мне нужно было, чтобы стал экипаж.

— Тихон Ильич, — сказал я, когда Бережной полез было к схеме, — вы садьте.

— Да мне посмотреть.

— Вы посмотрите отсюда. У вас рабочее место в будке, и я не хочу, чтобы вы привыкали, что около вас кто-то толчётся. Сейчас мы тут потолчёмся один раз, а потом я вам туда никого не пущу, кроме Емельяна Саввича и того, кого вы сами позовёте.

Гордеев одобрительно хмыкнул.

— Говорю по порядку, — сказал я. — Каждый называет, где он, кому докладывает и как выходит, если встали. Начинаю я. Я на площадке связного, левый борт, рядом фонарь. Докладываю в штаб через Осипова. Выхожу через заднюю дверь.

— Жаров.

Николай шагнул к схеме.

— Я и ремонтная группа — в связном, у задней двери. Инструмент вот тут, в двух ящиках, они у меня привязаны и они у меня не под лавкой, а на виду. Тимохин знает, в каком что.

— Тимохин, скажи, что в первом.

— В первом то, что нужно сразу, — отбарабанил Тимохин. — Ключи, домкрат малый, кувалда, лом, пакля, маслёнка, костыльный молоток. Во втором — то, что потом: болты, накладки, клещи, ножовка.

— А если тебя ночью разбудить и сказать «первый ящик»?

— Я возьму первый ящик, — сказал Тимохин. — Он с верёвкой на ручке. Чтоб на ощупь.

— Хорошо.

Вера подошла к схеме сама.

— Орудийная группа — башня и подача, — сказала она. — Нас там пятеро, и нам там тесно. Гринёв, я тебя прошу при всех: проход к башне и подачу боеприпасов пехотой не занимать. Ни ящиками, ни людьми, ни на минуту.

— Юдин, слышал?

— Слышал, — сказал Юдин.

— И не потому, что я жадная, — добавила Вера, — а потому, что если мне понадобится быстро подать, а там сидит чей-то боец и греется, я его толкну, он уронит, и мы все узнаем много нового.

— Дальше, — сказал я. — Осипов.

— Связь, — сказал Осипов и вышел вперёд. — Тут надо сказать подробно, товарищ старший лейтенант, я прошу минуту.

— Говори.

— На стоянках у меня телефон. Мы останавливаемся, я включаюсь в линию, если она цела, или тяну свою от муфты, если знаю где. Это значит, что штаб нас слышит, только когда мы стоим. В движении телефона нет.

— А в движении?

— А в движении — сигналы. — Он поднял руку с фонарём. — Два медленных круга — стой, это уже все знают. Три коротких вспышки в сторону наземной группы — «вижу вас, не стреляем». Длинный свет вдоль полотна вперёд — «путь занят, отход». И ракета — это уже совсем плохо, это «встали и не идём».

Он оглядел всех.

— И вот это главное, — сказал он. — Если мы в движении и штаб нас не слышит — это не значит, что нас не стало. Это значит, что мы едем. Я вас прошу, товарищи, кто останется на станции: не начинайте нас хоронить через двадцать минут молчания. Пахомов, слышишь? Ты особенно.

— Слышу, — сказал Пахомов от двери.

— Рябцев, — сказал я.

— Сапёры, четверо, — сказал Рябцев. — Мы идём впереди, отдельно от состава. У моста — наша работа. До моста наша работа — смотреть путь на остановках и там, где разведка что-то заметит. Я говорю сразу: мы медленные. Если я скажу «десять минут», это будет десять минут, и торопить меня бессмысленно, потому что от торопливости у меня только руки трясутся.

— Юдин.

Юдин подошёл к схеме и повёл по ней пальцем.

— Пехота, шестнадцать человек, — сказал он. — После сбора нас довезут полutorкой по просёлку до четырнадцатого километра. Оттуда идём низом вдоль полотна. Если поезд встанет — подойдём по сигналу. Если пойдёт — будем отставать, нас не надо ждать.

— Покажи Вере, где ты будешь.

Юдин показал.

— Вот отсюда и до вот этой рощи — мы. Правее рощи нас нет и быть не может. Товарищ лейтенант, я вас очень прошу: правее рощи — не наши. А вот в этой полосе, между насыпью и просёлком, могут быть мои, и там надо смотреть.

— Поняла, — сказала Вера и что-то пометила себе в книжечке. — Мой наблюдатель это запишет и повторит вслух. Твои условные?

— Белая тряпка на штыке — днём. Ночью — фонарь в землю, три раза накрыть ладонью.

— Годится.

— И место встречи, — сказал я. — Повтори.

— У моста, восточный подход, — сказал Юдин. — Не на мосту, а у насыпи, под откосом с южной стороны, где кусты. Я туда выхожу и сижу тихо.

— А если мы опоздаем?

— Если поезд не пришёл к сроку — я не иду один на мост, — сказал Юдин. — Я занимаю подход и жду сорок минут. Через сорок минут, если состава нет, я посылаю двоих назад по полотну, а сам держу подход, пока меня оттуда не выбьют.

— А если раньше нас придёт немец?

— Тогда я его слушаю и считаю, — сказал Юдин. — И не лезу.

Я посмотрел на него и подумал, что два года назад этот парень ронял обойму от стука доски.

Пробный сбор мы сделали в час тридцать пять — всех, кто идёт, по местам, и я прошёл по составу от паровоза до задней двери связного, считая людей.

Не хватило одного.

— Кто? — спросил я.

Мельников, стоявший внизу с фонарём и списком, провёл пальцем по бумаге.

— Панкратов, — сказал он. — Он не в рейсе. Он у меня на семафоре, на северном.

— А почему тогда...

— А потому что я его в твой список вписал, — сказал Мельников. — Вчера вечером, когда ещё не знали, сколько кто остаётся. Моя ошибка. Я его тебе отдал, а потом сам же поставил на пост, и вышло, что он у меня в двух местах.

Он сказал это без всякого выражения, просто как факт, и тут же перешёл к делу.

— Значит, так. Панкратова я с семафора снимать не буду, там ночью самый смысл и есть. Вместо него тебе в рейс идёт Ерохин. Ерохин у меня во второй смене резерва, его снять можно, и он с Юдиным работал, они друг друга знают. А вместо Ерохина в резерве встанет Кучин, он отдыхал.

— Кучин с рукой?

— Кучин с рукой в резерве может, — сказал Мельников. — Он в резерве сидит, а не бегаёт. А если поднимут — он мне нужен не стрелять, а докладывать.

Я подумал секунды две.

— Принято, — сказал я. — Одно только: проверь ответ.

— Уже проверяю.

Он ушёл в темноту и через семь минут вернулся.

— Ерохин на месте, у Юдина, доложил. Кучин принял резерв, доложил. Панкратов на семафоре, отозвался. Пары переговоров, обе новые, обе ответили.

— Хорошо.

— И вот ещё что, Андрей Кузьмич. — Мельников понизил голос. — Я твой общий выход держу вот как: если у вас там совсем плохо станет и вы пойдёте пешком, вы пойдёте по полотну на восток. Я на девятом километре, на переезде, поставлю двоих с фонарём. Они там до утра будут. Не потому что я жду плохого, а потому что человеку ночью идти двадцать километров без встречи тяжело.

Глава 5



Я посмотрел на него.

— Спасибо, Пётр Игнатьич.

— Не за что, — сказал он. — Я это не для тебя делаю, я для них делаю.

Александра пришла, когда самое трудное было уже расписано и людям дали десять минут передышки.

Она пришла сама, с той стороны, где стоял санитарный, и поднялась в связной вагон, и остановилась в дверях с вымытым котелком в руке, потому что не сразу увидела, что тут теперь чисто.

— У вас тут жильё, — сказала она.

— У нас тут жильё, — согласился я. — Вечером тут было стекло по щиколотку.

В вагоне, кроме нас, никого не было: люди спали в головном и на паровозе, и печка догорала, и на столе горела гильза с фитилём.

Я сдвинул на край стола карту и планшет. Александра сняла с лавки чей-то вещмешок и поставила его в угол, к остальным, и это вышло у нас одновременно и почти смешно — будто мы вдвоём разбирали комнату.

Сели.

— Сколько у вас времени? — спросил я.

— До двух, — сказала она. — Потом у меня приём, у нас должны подвезти из медсанбата.

— У меня почти столько же. Потом трогаемся.

— Тогда не говорите мне больше про два часа, — сказала Александра.

Я начал ей рассказывать про рейс. Я и не заметил, как начал, — просто по привычке стал перечислять: что состав ограничен одним рейсом, что мастер дал условия, что Юдин выйдет низом, что в четыре десять...

Она слушала, слушала, а потом сказала:

— Андрей.

Я замолчал. Она произнесла моё имя очень тихо, и я наконец услышал её, а не собственный перечень.

— Я вас спрошу одну вещь, и вы мне не отвечайте сразу красиво, — сказала она. — Вы когда-нибудь думаете, что будет после?

— После рейса?

— После войны.

Я открыл рот и понял, что сказать мне нечего. То есть было что — у меня в голове это лежало давно, только я никогда не вытаскивал это на свет и не проверял словами.

— Думаю, — сказал я.

— И что вы думаете?

— Я думаю про дом, — сказал я. — Только не про такой, как в книжках. Я думаю про очень глупые вещи, Александра Тимофеевна. Я думаю про то, что можно снять сапоги и поставить их, и они будут стоять там, где я их поставил. Что можно положить бритву на полку и она будет лежать на полке. Что не надо всё держать в мешке, и мешок в головах, и чтобы одна рука сверху.

Она молчала и слушала, и я говорил дальше, потому что остановиться уже не мог.

— Стол, — сказал я. — Настоящий, который не откидывается и не привинчен. И чтобы на нём можно было оставить недопитый чай, уйти, вернуться через час — и он стоит. И окно, которое не надо закрывать одеялом. И чтобы утром никто никуда не поднимал.

Александра слушала, опустив глаза на свои руки. Руки у неё были красные, с потрескавшейся кожей на костяшках.

— Это вы описали отдых, — сказала она.

— Что?

— Вы описали не дом, — сказала она мягко. — Вы описали отдых. Место, где вы наконец ляжете и вас никто не тронет. Это очень понятно, Андрей, и я сама про это думаю каждую вторую ночь. Только я вас спросила не про отдых.

Я почувствовал, что краснею, и хорошо, что было темно.

— А про что?

— Про то, буду ли я в этом доме, — сказала Александра. — И кем.

Она подняла глаза.

— Вы не думайте, что я вас ловлю, — сказала она. — Я не про свадьбу спрашиваю. Я спрашиваю про очень простую вещь, и мне важно услышать ответ до того, как вы сегодня поедете, потому что потом будет поздно спрашивать спокойно.

— Спрашивайте.

— Я фельдшер, — сказала она. — Я работала в хирургии до вас и буду работать после войны. Я не умею и не хочу переставать. И у меня бывают ночи, когда я не прихожу домой, и бывают недели, когда я прихожу только спать. И вот я хочу знать: в вашем доме со столом и с бритвой на полке для этого есть место? Или вы меня там представляете... — она поискала слово, — при доме?

— Я вас не представляю при доме, — сказал я.

— Не торопитесь.

— Я не тороплюсь. — Я и правда не торопился, я говорил медленно, потому что это было важнее, чем всё остальное, что я сегодня говорил. — Александра Тимофеевна, я почти два года смотрю, как вы работаете. Я ни разу не видел, чтобы вы это делали из-под палки. Если я после войны отниму у вас это, я получу дома чужого человека, который будет меня за это ненавидеть, и правильно будет ненавидеть.

— Хорошо сказано, — сказала она, — но это всё ещё слова.

— Тогда не словами. — Я потёр лоб. — Смотрите. Я после войны не пойду командовать. Я не знаю, что я буду делать, но я довольно сильно подозреваю, что это будет что-то, где чинят и строят. И вот тут я вам скажу неприятное: я вас не смогу устроить туда, где хорошо мне. И вы меня не сможете устроить туда, где хорошо вам. Значит, надо искать не мой город и не ваш город, а место, где нужны оба.

— Такие бывают?

— Такие как раз и бывают, — сказал я. — Их после этой войны будет много. Там, где всё разрушено, нужны и больница, и тот, кто поднимет стены.

Александра долго молчала.

— Вы понимаете, что вы сейчас предложили? — сказала она наконец.

— Понимаю.

— Вы предложили мне не дом. Вы предложили искать вместе.

— Да.

— Это труднее, — сказала она.

— Труднее, — согласился я. — Но это то, что я могу обещать и выполнить. А дом с окном я вам обещать не могу, потому что у меня его нет и я не знаю, где он будет.

Она засмеялась — тихо, почти беззвучно, и это было очень хорошо.

— Знаете, что самое смешное? — сказала она. — Я готовилась к этому разговору две недели. Я даже придумала, что скажу, если вы начнёте про «после войны заживём». У меня была заготовлена отповедь.

— Хотите, произнесите. Мне полезно.

— Не хочу, — сказала Александра. — Она теперь не подходит.

И подвинулась ко мне сама.

Не я — она. Я это запомнил очень отчётливо, потому что весь вечер и всю ночь двигался и командовал я, а тут двигаться пришлось не мне.

Гильза на столе догорала. За стеной паровоз дышал ровно и по-домашнему, как учил слушать Емельян Саввич, и всё было хорошо, и очень долго не было никаких сроков.

Потом она сказала мне в плечо:

— Десять минут.

— Я знаю.

— Вы не знаете, вы часов не видите.

— Я знаю, — сказал я.

Она выпрямилась, и я увидел, как она возвращается к работе: провела ладонями по халату, поправила платок, и лицо у неё стало собранное, и это заняло у неё секунд десять.

— Волосы, — сказал я.

— Что волосы?

— Вот тут. — Я коснулся выбившейся пряди у её виска.

Она подобрала прядь под платок.

— Спасибо. — Она встала, передвинула вымытый котелок к моему вещмешку и остановилась у двери. — Андрей.

— Да.

— Я не буду вас просить беречься. Это глупая просьба и вы её всё равно не выполните.

— Не выполняю.

— Поэтому я вас попрошу другое. — Она смотрела прямо. — Когда вернётесь — придите ко мне сами. Не присылайте Осипова с запиской. Придите и покажитесь. Мне надо вас видеть, а не знать.

— Приду.

Она кивнула и спрыгнула со ступеньки, не дав себя проводить дальше, и пошла к своему вагону быстрым шагом, и не оглянувшись, и правильно сделала.

Вера в это время была у башни.

Я увидел её, спустившись из связанного вагона: она стояла с фонарём у откинутой броневой створки и в третий раз за ночь гоняла свой расчёт — заставляла подавать учебный, засекала по часам и что-то говорила негромко, но так, что заряжающий каждый раз дёргался.

— Ещё, — говорила она. — Ты сейчас за что зацепился? За вот это. Значит, ты это вот так обходишь. Ещё раз.

Она обернулась, увидела меня и подошла.

— Всё? — спросила она.

— Всё.

— Ты в порядке?

— В порядке.

— Ну и хорошо, — сказала Вера. Она не спросила ничего лишнего и никогда не спрашивала; это была одна из причин, по которым с ней было легко. — У меня четверо натасканы, пятый плавает, но он подающий, ему не думать, ему таскать. После пробного остался двадцать один выстрел, я тебе повторяю: двадцать один. Я их буду считать вслух, и ты не удивляйся, когда услышишь, как я ору цифры.

— Не удивлюсь.

— И вот что, Гринёв. — Она посмотрела на меня снизу вверх. — Если ты меня в темноте попросишь стрелять туда, куда я не вижу, я не выстрелю. Ты это уже знаешь. Я тебе говорю второй раз, чтобы ты не рассчитывал.

— Я не рассчитываю.

— Тогда поехали.

Рельсы мы грузили последними, и это было решено не мной.

Я, если честно, об этом даже не подумал. Я думал про мост, про заряды, про Юдина, про то, как мы будем выходить обратно, — а про то, что у нас на пути могут просто снять рельсы, я не подумал, и мне это до сих пор неприятно вспоминать.

Об этом сказал Гордеев — ещё до испытания, когда мы дописывали схему.

— Товарищ старший лейтенант.

— Слушаю.

— Вы на чём поедете?

— На путях.

— Вот-вот, — сказал старик. — А теперь подумайте: немец с моста уходить не собирается, он его в четыре десять рвать хочет. И он знает, что от узла к мосту есть путь. Вы бы что на его месте сделали?

Я подумал.

— Разобрал бы, — сказал я.

— Разобрал бы, — повторил Гордеев. — И не всё, ему некогда. Он снял бы секцию-другую в удобном месте — и хватит, вы уже не проедете.

— И что?

— И то, что надо везти с собой. — Он поскрёб подбородок. — Две рельсы. Накладки, болты, костыли. Шпалы у меня есть старые, четыре штуки положим. И инструмент путевой — ключ, лом, костыльный, домкрат.

— Сколько времени на погрузку?

— Полчаса, если с толком.

— Грузим.

Грузили на контрольную платформу, и грузили не как попало.

— Вот сюда, — говорил Жаров, показывая ладонью по борту. — Не в середину, Тимоха, а вдоль борта и головками наружу. Чтоб мы их могли стянуть на сторону, а не выковыривать из-под всего.

— А чего не в середину?

— А того, что в середине они у меня лягут, и чтобы их взять, надо будет лезть сверху. А лезть сверху мы, может, будем под огнём. Вдоль борта — я её тросом за конец и стащил, и она сама съехала.

— А с какой стороны?

— С обеих, — сказал Жаров. — Я не знаю, с какой стороны будут стрелять.

Они с Гордеевым перевязали пакет тросом и закрепили, и дважды перевязали иначе, потому что с первого раза петля оказалась под грузом.

Тимохин в это время проверял инструмент, и проверял вслух, потому что я его к этому приучил.

— Ключ путевой — есть, один. Второй? Второго нет.

— В депо возьми, — сказал Гордеев. — Один ключ — это не инструмент, это горе.

Тимохин сбегал и принёс второй. Потом пересчитал болты — и оказалось, что накладок четыре, а болтов на них шестнадцать, а привезли двенадцать.

— Четырёх не хватает, — сказал он.

— Ну так иди возьми, — сказал Жаров.

— А где?

— А вон, — сказал Гордеев, — вон на том пути валяется старьё, выберешь целые. Только резьбу пальцем прогони, там ржавь.

Тимохин ушёл с фонарём и вернулся минут через десять — мокрый по колено и очень довольный, с восемью болтами.

— Восемь? — сказал Жаров.

— Про запас, — сказал Тимохин.

— Молодец.

В вагон занесли ящики с крепежом, домкратом и ключами. Из-за них вышел маленький спор: двое бойцов заворчали, что запас занял место у борта, где они собирались лечь.

Я объяснил один раз — коротко, но объяснил, потому что не объяснить было бы хуже.

— Это лежит здесь, потому что если нам впереди разберут путь, мы без этого не проедем. И тогда мы не доедем до моста, а мост взлетит, и через три дня по нему не пойдут эшелоны на плацдарм. Я вам не приказываю не ворчать. Я вам объясняю, за что вы двадцать километров будете сидеть скрючившись.

Больше никто не ворчал, и один из них сам подложил под ящики чурки, чтобы они не скользили.

Захваченную бумагу с красным крестом я в последний раз перечитал без десяти два, вместе с Гуревичем.

— Переведи ещё раз, дословно, — сказал я. — Не смысл. Слова.

Гуревич перевёл дословно: время, номер объекта, слово, означающее подготовку к разрушению, и подпись.

— И что мы про это точно знаем? — сказал я, ни к кому не обращаясь.

Рябцев, сидевший у стены, ответил:

— Что они собирались в четыре десять. Вчера собирались.

— И наблюдение?

— Наблюдение говорит, что на мосту с вечера возились, — сказал я. — И что к западному быку подходили дважды.

— Значит, к четырём десяти готовятся, — сказал Рябцев. — Только запомни, Гринёв, одну вещь: это их время, не наше. Они могут рвануть в три сорок, если им покажется. И могут не рвануть в четыре десять, если им прикажут ждать. Мы едем не на срок. Мы едем на мост.

— Я это скажу людям.

И я сказал — коротко, перед самой отправкой, стоя в дверях связного вагона.

— Слушать сюда. Мы знаем из немецкой бумаги, что мост они собираются взорвать в четыре десять. Это причина ехать быстро. Это не обещание, что до четырёх десяти нам ничего не будет. Их время может быть другим, и они про нас тоже кое-что знают. Поэтому: едем спокойно, делаем всё по порядку и никто никуда не прыгает раньше команды. Всё.

Тронулись без пяти два.

Без пяти — потому что в последний момент Бережной ещё раз слез, потрогал ту буксу рукой, постоял и только потом полез обратно.

— Тёплая, — сказал он сверху. — Как договаривались.

Шли медленно. Двадцать пять — это по ощущению почти пешком, и было странно ехать в бронированном ящике со скоростью телеги.

Впереди, невидимая, шла путевая разведка — двое полковых разведчиков и сапёр Кожемяко от Рябцева, — они выехали раньше на путевой дрезине с проверенным местным проводником, затем шли перед нами на остановках; машину прятали на боковом ответвлении, и у них был фонарь с синим стеклом и очень простая задача: смотреть на рельсы.

Ночь была тёплая, летняя, с туманом в низинах. На третьем километре мы прошли мимо сгоревшего состава, стоявшего на соседнем пути ещё с прошлого года, — чёрные рёбра, провалившиеся крыши; на седьмом стали на четыре минуты, и Осипов включился в линию у будки путевого обходчика и доложил, и Пахомов на том конце отозвался с явным облегчением.

Я трогал буксу на каждой остановке, как велено. Она была тёплая.

За девятым километром стало видно зарево на западе — не пожар, а тот дрожащий свет, который бывает, когда за горизонтом что-то методично и далеко бьёт.

В два тридцать три — ноль два тридцать три по часам, я это записал потом — впереди, шагах в трёхстах, трижды моргнул синий фонарь.

— Стой! — сказал я и дал два медленных круга своим.

Бережной стал сразу, и это было красиво: без рывка, без скрежета, длинно и ровно, и состав встал, и стало слышно, как под нами остывает железо.

Кожемяко подошёл к площадке снизу, тяжело дыша.

— На четырнадцатом километре два рельса сняты, — сказал он. — По одному с каждой нитки. Отсюда триста двадцать шагов, за поворотом, сразу как насыпь пойдёт выше.

— Целиком сняты?

— Целиком. Костыли выдернуты, накладки сняты и унесены. Рельсы сброшены под откос, я их видел, они там лежат, но они гнутые, их бросали.

— Шпалы?

— Шпалы на месте, но две расшатаны.

Гордеев, слезая, уже ворчал:

— Аккуратно работали. Не подрывали, а разобрали. Значит, не торопились и значит, у них тут кто-то с головой.

Я послал Осипова к аппарату — линия шла вдоль полотна, и он рассчитывал найти муфту, — и сам пошёл вперёд с Жаровым и Гордеевым, оставив состав там, где он встал. Гаврилюк ещё при остановке ушёл к двум разведчикам, пока Кожемяко докладывал нам разрыв.

Мы прошли, наверное, шагов двести, и тут из леса слева ударили.

Ударили не по нам — по разведке, по той стороне насыпи, где на светлом небе могли быть видны фигуры. Короткая очередь, потом вторая, потом хлопнула ракета и повисла, заливая всё этим мёртвым качающимся светом.

— Ложись!

Я упал в щебень и почувствовал, как под щекой перекачиваются камешки.

Ракета качалась и гасла. Из леса дали ещё очередь, и я увидел вспышки — не прямо, а краем глаза, левее и дальше, чем думал.

— Все за насыпь! — крикнул я. — Вниз, направо, под откос!

Мы скатились по щебню на восточную сторону насыпи, и это было единственное правильное место: насыпь тут шла высокая, метра в три, и она нас закрывала целиком.

Я лежал и считал людей.

— Кожемяко!

— Тут я.

— Разведка где?

— Тут мы, — отозвались снизу, из-за куста. — Оба.

— Целы?

— Целы, товарищ старший лейтенант. Гаврилюку по каске чиркнуло.

— Отходите ко мне вдоль откоса, не навверх. Наблюдение не терять.

Они приползли через минуту. У Гаврилюка на каске действительно была свежая светлая полоса, и он всё время трогал её пальцем и сам себе не верил.

Осипов появился откуда-то снизу с катушкой на плече.

— Муфта в семидесяти шагах назад, — сказал он. — Я включусь оттуда, но не сейчас, сейчас я через верх не полезу.

— Не лезь.

Наблюдатель Самойловой сполз ко мне по откосу с телефонной трубкой. Провод тянулся к башне. Он приложил трубку к моему уху.

— Где? — спросила Вера в трубке.

— Из леса. Левее.

— «Левее» — это не ответ, Гринёв.

— Знаю. — Я повернулся: — Гаврилюк, ты видел вспышки. Откуда?

Гаврилюк подполз.

— Вот, — сказал он. — Смотрите отсюда. Вон та сухая сосна видите, одна торчит? От неё вправо и вниз, у самой опушки. Там два раза било, я оба раза видел с одного места.

— Одно место или два?

— Одно, товарищ лейтенант. Точно одно. Второй раз чуть ниже, но там же.

Наблюдатель лёг у Гаврилюка, посмотрел через бинокль и передал Вере ориентир.

— Дистанция?

— Метров четыреста, — сказал я.

— Четыреста двадцать, — сказал Гордеев неожиданно, откуда-то сбоку. — Я тут лесопосадку сажал в тридцать восьмом, я эту опушку знаю.

В трубке хмыкнули.

— Мне нужно, чтобы он показался ещё раз, — сказала она. — Один раз, и я его накрою. По одному рассказу я в темноте стрелять не буду: я туда положу, а там могут сидеть чьи-то дети, и я не узнаю об этом никогда.

— Он покажется, — сказал я. — Он не для того тут сидит, чтоб молчать.

Жаров тем временем уполз вперёд вдоль откоса и вернулся.

Он лёг рядом со мной, отдышался и заговорил деловито, будто и не было никакой стрельбы:

— Андрей Кузьмич. Я посмотрел.

— И?

— Место неплохое, — сказал он. — Разрыв вот тут, за поворотом. Насыпь высокая, и она идёт с изгибом. Это значит, что если Тихон Ильич подведёт состав и встанет вот сюда, — он показал ладонью, — то платформа окажется между разрывом и лесом. Понимаешь? Она нас прикроет. Мы будем работать с восточной стороны, от неё, и нас с опушки видно не будет.

— А подавать как?

— А подавать я хочу отсюда. — Он повернул ладонь. — Вот с этого борта. Мы их за концы стянем, они пойдут вниз по откосу своим весом, и мы их потом перекатим. Тут метров двадцать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.